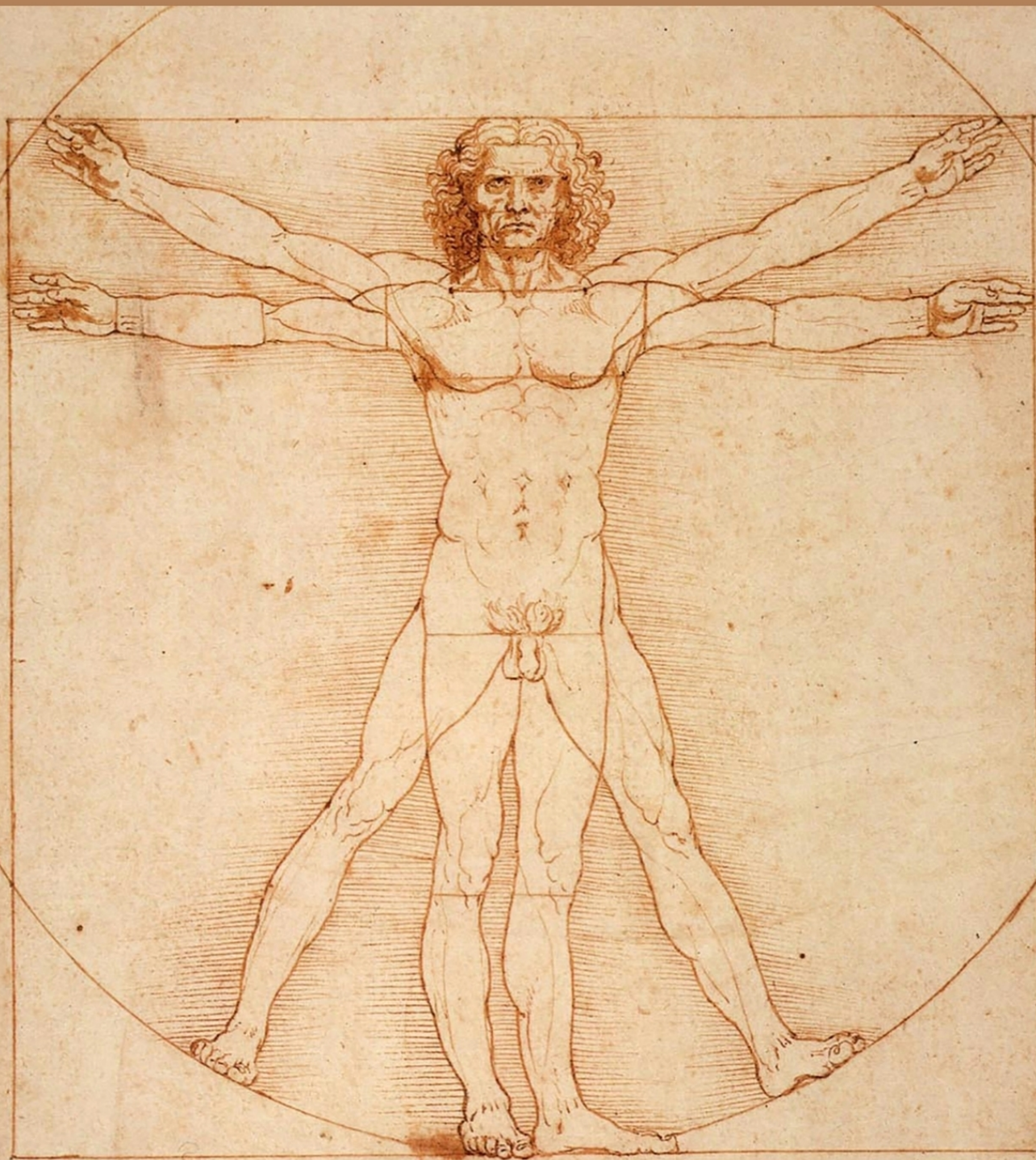


Виорэль Ломов

# Преодоление отсутствия



Handwritten text in a cursive script, likely a transcription or commentary related to the drawing above. The text is arranged in several lines, with some lines starting with a small 'B' on the left margin. The script is dense and difficult to decipher without specialized knowledge of the language.

16+

Виорэль Ломов

**Преодоление отсутствия**

«ЛитРес: Самиздат»

2019

**Ломов В. М.**

Преодоление отсутствия / В. М. Ломов — «ЛитРес: Самиздат»,  
2019

Роман о жизни и смерти, о поисках самого себя, своего места в жизни, о любви, побеждающей любые препятствия, даже уход из этого мира. Роман о русской жизни во второй половине прошлого века, которую нельзя рассматривать в отрыве от всей предшествующей культуры не только России, но и человечества. О той жизни, которая продолжается и сегодня, и которая продлится завтра... Путешествие главных героев по подземному лабиринту сопровождается радиальными вылазками в средневековую Италию, в Афины времен Сократа, в сибирский город Воложилин, в город-миф Галеры, в котором проявляется истинная суть человека и человеческих отношений.

## Содержание

Пролог	6
Глава 1. Из которой непонятно, что Автор хочет сказать	7
Глава 2. Кьеккенмединги в сторожке из ДСП	10
Глава 3. Появление Рыцаря и еще несколько упоминаний о Галерах	13
Глава 4. Боб не захотел быть сволочью	17
Глава 5. Большая, поскольку появляется Рассказчик. О кракле, фру-фру и бараньей няне	19
Глава 6. Рождение Мурлова. Эвдаймония	24
Глава 7. Ец-тоц-перетоц, или Якорь ей в глотку. Появление еще одного героя	28
Глава 8. Слово берет Рассказчик. На земле Древней Греции	32
Воспоминание 1. Гришка	34
Воспоминание 2. Настенка	35
Глава 9. Воспоминания, воспоминания...	39
Воспоминание 3. Кто сам молодец – у того и петух храбрец	39
Воспоминание 4. Как воронья кобыла стала белой	42
Воспоминание 5. На реке	44
Воспоминание 6. Прут, Дюк и другие	48
Воспоминание 7. Собачья верность	51
Воспоминание 8. Операция «Мщение»	54
Воспоминание 9. Немного о Гане	61
Воспоминание 10. Парное молоко	64
Воспоминание 11. Василий Федорович	69
Глава 11. Кто быстрее – время или курица	71
Глава 12. Туннельный эффект	78
Глава 13. Сон в летнюю ночь, или Были «Голубого Дуная»	81
Глава 14. Помогают ли юным девам советы блаженного Иеронима Стридонского	85
Глава 15. Савва Гвазава и его потребности	93
Глава 16. Год взбесившихся мужчин, или Париж стоит бедни	99
Глава 17. И ножками, и ножками – влево вправо, влево вправо, влево вправо	110
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Я получаю удовольствие, когда пишу то, что, как я подозреваю, не будет иметь никакого значения. (Уильям Петти).

## Пролог

Со стороны автора было бы опрометчиво назвать свой роман «В мире мудрых мыслей», поэтому он назвал его именем собственным: «Мурлов». Во всяком случае, именно Мурлов напомнил ему тот нереальный портовый город, где встретились различные архитектурные стили и разные народы. Город, открытый всем ветрам, стоящий на море, скалах, земле и парящий в воздухе.

## Глава 1. Из которой непонятно, что Автор хочет сказать

В некотором царстве, в некотором государстве, в каком году – не знаю, в каком краю – не скажу, недалеко от зоопарка был центральный городской парк – не очень большой, но и не очень маленький. От него до Японии было так же далеко, как до Нидерландов, поэтому в нем редко можно было увидеть гуляющего японца или голландца, но всегда было много наших озабоченных соотечественников. Впрочем, видели в парке Акутагаву и Ван Гога. А вот Гоголя не видели. Хотя гоголем ходили многие.

Кстати, если в центр парка, скажем, в бассейнчик с каменным медвежонком, воткнуть циркуль и провести огромный-преогромный круг, так чтобы захватить им и белый ледовитый океан, и красные огненные пустыни, то за этим кругом окажутся и все мировые религии, и все процветающие и умершие цивилизации, а внутри круга, точно околдованные кем, будут летать над лесами, над долами, да над чистыми полями серые стаи перелетных птиц, да неприкаянно носиться белые бессмертные души умерших и тех, кто собрался умереть.

\*\*\*

Ах, этот серо-белый цвет – цвет зимы, цвет большинства воспоминаний. На дворе декабрь ненастный, час угрюмый, час раздумий... Так бесприютно – если б только знали! Разрешите постучать в дверь вашего дома. Не пугайтесь. Честь имею: Автор. Ваш гость. Гость – и больше ничего. Продолжаю.

\*\*\*

Когда дул восточный ветер, от зоопарка несло вонью, когда дул западный – пахло карамелью от кондитерской фабрики, а когда зимой дул северный или южный – возле обледелого медвежонка любили останавливаться породистые кобели и делать очередную золотую запись в ледовой книге, которую с неподдельным интересом обнюхивали породистые суки. Но независимо от направления ветра каждое утро на центральной аллее парка всех прохожих приветствовала старая Ворона. Говорят, она принадлежала семейству того Ворона, что обнаружил сушу во время потопа, а потом навеки взгромоздился на бюсте Паллады. Ворона была неизмеримо выше кобелей и сук и обычно сидела не на бюсте (хотя в парке тоже была дева, не просто с бюстом, а в полный рост и с веслом), а на суку и кричала так, будто рожала. Собаки изредка побрехивали на нее и взвизгивали от бессильного негодования.

Ворона не покидала парк много лет; все давно свыклись с нею, и бабушки уже в сотый раз рассказывали своим внукам о ней разные небылицы. О том, например, как в годы нашего золотого бума, когда цыгане стали ставить золотые коронки своим лошадям, она летала своим ходом в Индию (штат Мадрас) и там стащила в короткий срок у трехсот состоятельных граждан, почему-то только у кшатриев, золотые очковые оправы. Мадрасская полиция тогда совершенно сбилась с ног в поисках вора, но так его и не поймала. Говорят, эти оправы Ворона спрятала в одном из тайников парка. Любители золотых оправ долго искали это место, но, разумеется, не нашли. Подключали к поискам даже мэра, под предлогом наведения порядка перед Днем города. Согласно распоряжению мэра в парке пересчитали всех ворон, но и это не помогло. Что Вороне мэр, сэр? Кар, пустой звук. То же, что и пэр. (Что ни говори, Ворон все-таки священная птица самого Аполлона). Ворона же благоразумно очки не надевала. Бабушкины чада бросали ей булки, пряники, другие объедки – и совершенно напрасно, так как под скамейками и на газонах этого добра вполне хватало, даже для парковских алкашей и приبلудных бомжей, брезгающих отдельными кусками. Парк уже лет тридцать именовали в народе «Вороньим парком», хотя за это время трижды менялось его официальное название, плохо удерживаемое памятью.

Центральная аллея, пересекавшая парк по диагонали, делила его на два равнобедренных треугольника, каждый из которых жил своей внутренней геометрической жизнью. В одном треугольнике преобладали прямые и острые углы аллеек, влюбленных подростков, березок и елей, в другом – круги и эллипсы клумб и фонтанов, детских колясок и беременных женщин. В одном – тискались так, что не хватало воздуха, и, за недостатком слов, смеялись, в другом – дышали этим воздухом и этими словами беседовали. Центральная аллея была своего рода мостом между рестораном «Центральный» и Воложилинским историческим музеем. Возле черного входа в ресторан, в полуподвальном помещении располагался первый в городе кооперативный туалет «Южный пассат», над которым, как эпитафия к роману, красовалась надпись: «Ничто так не вызывает позыва к мочеиспусканию, как вечная мысль о нем» (П.Дюбуа). А не пора ли и мне собирать вечные мысли?

Пока я шагал по аллее, Ворона сопровождала меня, перелетала с ветки на ветку и всякий раз орала и долбила сук, на котором сидела. Это продолжалось до тех пор, пока я не подошел к музею, который занимал оба этажа огромного старинного двухэтажного дома, даже и не дома и не дворца, а странного сооружения прошлого века. (Говорят, строителей то ли утопили, то ли пригласили в Париж на ярмарку, во всяком случае, с тех пор их в городе больше не видели).

В конце аллеи было несколько «поющих» деревьев. Они пели сто раз в году, в хорошую погоду, когда на них слетались птицы со всей округи: воробьи, синицы, скворцы, сороки, зяблики, малиновки, снегири, трясогузки и даже дятлы. Птицы полюбили почему-то именно эти деревья и собирались здесь на свои спевки. Дирижировала птичьим сводным хором, естественно, Ворона.

Под деревьями стояли скамейки, на которые никто не садился и с которых два известных знахаря темными осенними ночами отдирали окаменевший и почерневший птичий помет, нарезали его кубиками и запаивали в полиэтиленовые пакетики с надписью «Мумие». В каждой пакетике лежала инструкция, в которой сообщался номер лицензии, выданной самим Минздравом, название горной расщелины, где добыт этот бесценный минеральный продукт, и порядок его применения, как для общего оздоровления, так и при переломе костей.

На одной из этих скамеек (на той, у которой оторвано половина реек) сидели в обнимку два бомжа противоположного пола и пели песню со сложным мотивом. Очень выразительно звучало из ее уст: «Ты мой король! Ты мой король!», а из его: «А ты моя королева!», с чем она соглашалась и подтверждала: «А я твоя королева!» При этом оба разом вскидывали головы, глядели друг на друга и загадочно улыбались. Загадочность заключалась в том, что неясно было – улыбка это или что-то другое. На меня они не обратили внимания. Раз пели, значит, по-своему были счастливы. Но из двух этих промелькнувших счастливых лиц запоминалось одно. Не его, а ее. Его лицо одинаково хорошо подходило и бомжу, и разведчику, и кассиру, и заместителю любого министра – то есть любому, кому по роду деятельности не требовалось лица; а вот она была колоритная особа: у нее под левым глазом сидел многолетний синяк, пустивший корни по всему лицу, лицо можно было бы назвать матовым, если бы оно было таковым, а на голове она носила красную фетровую шляпу с загнутыми кверху полями, из-за которой ее называли «Красной шапочкой», а за правым ухом над шеей был завиток, как у Анны Карениной.

На последнем перед музеем дереве Ворона послала мне последние проклятия и – усадив вместо себя двух стрекочущих сорок и какую-то молчаливую, как судьба, птицу, – улетела.

И последнее стало первым. На свою беду дерево родилось тополем, а тополь, когда он вырос, оказался крайне вредным для экологии растением. Оказывается, серые ручьи старого асфальта, покрытого рябью трещин, которые свободно текли меж зеленых июньских берегов и к которым южный сухой ветер прибывал белую пену ажурного тополиного пуха, таили в себе угрозу здоровью человека несравненно большую, чем, например, черные омуты беспробудного пьянства или сверкающие водопады беспорядочных половых связей, либо (еще пример) тучи

выхлопных газов или кучи окорочков, которые по традиции еще называли куриными. Тополя когда-то по чьему-то (как оказалось сейчас, сырому) решению высадили по всему городу, так как надо было срочно решать проблему его озеленения и, заодно, проблему осушения заболоченных почв; и через несколько десятков лет благодарные тополя завалили город повсюду проникающим пухом. Несмотря на это, люди привыкли к тополям и полюбили этих неприхотливых гигантов, дающих прекрасную тень и собирающих на клейкую свою листву обильную уличную пыль. Новый главный озеленитель города начал свою деятельность как искушенный политик: вырезал те деревья, которые нравились людям, и насадил вместо них те, которые нравились ему. Этот громадный тополь перед музеем и стал для него, если можно так выразиться, первым пробным камнем в эскалации «новой» волны озеленения.

Поздней черно-белой осенью бывшие заповедные уголки старого парка стали напоминать место побоища, на котором валялись обезглавленные змеи и драконы. Трупы их были присыпаны землей, и из земли во все стороны уродливо торчали серые шеи пней. Будто придурковатый Иван-царевич лихо прошелся по чужим садам и вострой шашкой порубал головы гадам, как капусту, и не оставил для сказки ни одного мало-мальски завалящего дракончика.

Старый тополь возле музея должен был помнить больше, чем помнили все жители Воложилина вместе взятые. А сейчас он лежал, четвертованный, как вор и злодей, и без всякой памяти, и люди с легкой досадой отмечали про себя – зря спилили красавца, изнутри совсем здоровый был, жаль... И вовсе не вор он был, и никакой не злодей. Ну а теперь, не памятник же ему ставить?

Кстати, изменение отношения к тополям было всего лишь маленькой частью глобальных сдвигов в природе. Так, за последние годы зимой на улице стало намного теплее, а в жилых домах заметно похолодало, что является, кстати, всего лишь следствием всеобщего принципа Ла Шателье-Брауна. Трагедийные терзания четы Карениных и Вронского разделились, как один широкий сказочный путь на три гиблых тропинки, на три взаимоисключающие проблемы: любовь, секс и брак. Любовь, по новым понятиям, стала путем к сексу и от секса; секс – краткой стоянкой в пути, предназначенной для отправления естественных потребностей организма; а брак – всем, что оставалось от любви и секса, то есть отсутствием всякого пути и накапливанием с годами до критического состояния неестественных потребностей души и тела. Тело стало накапливать пороки, а душа грехи, и людям стало жить заметно интересней. Уже никто не говорил никому: «У тебя, милоч, это вышло по-скотски!» Все говорили друг другу: «У тебя, друг, все путем, по-людски!» Ну, а эпическая мощь Загадки, которую несли в себе Сфинга или Сирены, разгадка которой была для них равносильна самоуничтожению, смерти, сегодня разыгрывается телевизионным фарсом «что, где, когда», в котором за разгадку кидают кость...

Когда я, отсчитав восемь гранитных ступеней, заходил в дверь служебного входа и увидел свое отражение в стекле, я понял причину Вороньего крика. «Коричневая ты чума, – подумал я вслед за Вороной. – Жадный, скупой и грязный».

## Глава 2. Кьеккенмединги в сторожке из ДСП

– Директора еще нет. Он в управлении культуры. У Достоевского. Нет, это не тот Достоевский. Впрочем, этот тоже знаменит – в своей области, откуда его в прошлом году направили к нам. Обменяли на бывшего нашего. Как двух военнопленных. Директор, правда, лентяй, как все наши работяги, но крутой. Как кипятилок, – Сторож отхлебнул чай из стакана. – С ним надо осторожно – ошпарит.

У меня, признаться, в голове стала образовываться некоторая сумятица. Я уже хотел уточнить: директор, может, и писает кипятком? Но, еще раз взглянув Сторожу в глаза, понял, что эту тему он развивать не будет.

Обстоятельность объяснений Сторожа была скорее всего следствием профессиональной скуки и вынужденным, хотя и добровольным (как у всякого пенсионера) заточением в камере из ДСП в такое ясное погожее утро.

Впрочем, перед ним лежала раскрытая книга в дорогом старинном переплете. При одном только взгляде на книгу приходила мысль, что книга интересна. Трудно было объяснить, почему приходила такая мысль – мысли ведь приходят сами по себе, как кошки, и, как кошки, сами по себе уходят. В книге было что-то обстоятельное, как бык на вертеле, и невесомое одновременно, как аура. Над ней, клянусь, была аура, как над чистым человеком. Священный трепет перед древней книгой не меньше трепета любви... Рядом лежала еще одна, не такая древняя, но тоже внушавшая добрые чувства, в дореволюционном переплете и хорошо сохранившимся золотым тиснением – «Труды профессора Фердинандова».

Живые проницательные глаза Сторожа изучали меня, а в густых зарослях бровей, усов и бороды пряталась ироничная усмешка, – ее не было видно, но она угадывалась, как угадывается под утро восход солнца. Светлая рубашка, воротник которой с длинными старомодными уголками был выпущен поверх воротника старомодного же добротного пиджака, густые чуть выющиеся волосы, абсолютно седые, зачесанные назад, но с упавшей набок прядью, придающей нечто юношеское узкому лицу с высоким чистым лбом и тонким хищным носом, так явственно напомнили мне одного профессора старой петербургской (до переименования) закваски, которого, впрочем, не было среди моих учителей, что я подумал: «А кто я? Что я знаю о себе?»

– Садитесь, здесь не так жарко, – любезно предложил он мне и, похлопав по книге «Трудов...», добавил: – Читайте вот, чтобы не забыть самого себя... Пока поджидаете директора, я вам расскажу о нашем здании. Это очень интересное сооружение, наше здание. В Египте не бывали? Там, знаете ли, кроме Нила и арабов, есть много пирамид...

– Кьеккенмединги, – пробормотал я. (Как-то в словаре я наткнулся на это слово, в переводе с датского означающего свалку раковин и костей рыб и животных по берегам морей и рек).

– Да, одни оставляют свалки, другие – пирамиды. Если бы вы хоть пять минут постояли под ослепительно-синим африканским небом у подножия пирамиды Хуфу, пытаясь окинуть ее всю взглядом (а это – уверяю вас – никак невозможно; это все равно, как взглядом окинуть, ну, хотя бы свою жизнь), вы стали бы совершенно другим человеком. Хотя, должен вам заметить, любая проблема, связанная с Египтом, чрезвычайно трудна, и мало найдется людей, способных разрешить ее. Предложите самому опытному грузчику мебельного магазина или какому-нибудь атлету поднять хотя бы одну самую маленькую проблему египтологии, ручаюсь, он не сможет даже оторвать ее от земли. Да что там Египет, а Россия? Россия вообще неподъемная машина. За нее и браться-то страшно. Не пробовали?.. После Тибета, кстати, так же себя чувствуешь. На Тибете не бывали? На острове Пасхи? Дольмены тоже не видели? О них в последнее время сочинять стали все кому не лень. Гегель скорее всего имел в виду пирамиды, когда писал, что чем сложнее конструкция, над которой трудится человечество, тем меньше принадлежит она каждому в отдельности. Это верно. Ведь в чем трагедия человека, наша с вами тра-

гедия? В пословице: видит око, да зуб неймет. Вы, верно, подумали, что любим делом надо с молодости заниматься? Пока зубы есть? И честь?

Я поклонился Сторожу. Он улыбнулся.

– Пирамиды – ведь это, собственно, все, что осталось от творения египетского гения. Да и не только египетского, вообще человеческого. Кстати, дочь Хеопса тоже построила пирамиду. Каждый любовник дарил ей камень. Да, это панцири умерших черепах, это черепки цивилизации. Вот только по этим черепкам никто, к сожалению, не может восстановить горшок. Вы совершенно правильно упомянули «кьеккенмединги». Вы проговорились, как может проговориться только образованный человек. Это похвально. Сразу видно, вы прожили жизнь. Сегодня не осталось ни одного целого древнего храма и памятника (да и цельного образованного человека тоже, кстати, нет). Их всех разрушили или пытались разрушить.

– Одни черепа и черепки, – остроумно заметил я.

– Да-да... Вообразите – день за днем, месяц за месяцем под палящим солнцем караваны верблюдов, ослов, лошадей, мулов, рабов, воинов Камбиза везут по пустыне столько дров, что ими можно было бы спалить всю Африку. Привозят, сваливают, обкладывают ими каменную статую непонятого бога с птичьей головой и поджигают их. Статуя чернеет, трещит, лопается и взрывается. А потом на раскаленный камень плещут воду, льют ее со всех сторон, пускают по специальным желобам и воронкам, пока статуя не разваливается на бесформенные куски. Их разбивают кувалдами и камнями на еще более мелкие куски, которые развозят потом во все края пустыни и там бросают, как бросают преступники части расчлененного тела. Проходит много лет и цветущая долина Нила превращается в кладбище.

Я невольно посмотрел на часы.

– Этим, однако, не кончилось. После камня взялись за папирусы, бумагу. Жгли ее и Цезарь, и Феофан, и Омар. Последний потратил полгода на то, чтобы сжечь в кострах, в печах и банях несметное число свитков и книг. Вот эта книга чудом спаслась. Кто сказал, что рукописи не горят? Еще как горят! От света тысячелетней мудрости пламя костров было видно за сотни миль. Его и поныне видно в звездную ночь. От него произошло северное сияние.

– Что же они не совместили эти два занятия – обложили бы рукописями статуи и подожгли их. И возить ближе, и жара не меньше.

– Им не хватало нашей изощренности. Она приходит с годами... В храмах не бывали?

(Интересно, почему он спрашивает с отрицательным утверждением: не бывали? Как проще ответить: да, не бывали, или нет, не бывали? Наверное, проще согласиться с тем, чего не было. Да, не было. Собственно, все мы только и делаем, что соглашаемся с тем, чего нет).

– В храме вы не принадлежите себе. Вы попадаете в силовое поле, как железные опилки на уроке физики. Так же и у подножия пирамид, поверьте, вы становитесь просто тряпкой, а на вершине – ничем, африканским ветром. Только, ради Бога, не спрашивайте об этом наших туристов. Мы ведь, в отличие от жрецов, воспринимаем не саму пирамиду, вершиной уходящую в космос, а ее плоскую проекцию в наш мир. Нам пирамиду не дано понять, она может послать нам лишь озарение.

Я было открыл уже рот, чтобы выразить Сторожу свою признательность за краткий экскурс в историю, но он продолжал свое.

– Одно дело – наверху, и совершенно другое – внутри пирамиды. Там вы ощущаете страшную тяжесть, нависшую над вами, вот здесь, на макушке, чуть дальше темечка. Это – с одной стороны. А с другой – вы, находясь на наклонной полированной поверхности коридора, чувствуете, что там за спиной – пропасть, пустота, а в ней ад. Вы всем своим существом чувствуете, как над вами прогнулись своды, как земля оседает и уходит из-под ваших ног, как вы запутались в невидимых линиях. А вокруг вас, и впереди, и по бокам, и внизу – множество горизонтальных, вертикальных, наклонных узких лазов, ходов и переходов, коротких и длинных широких галерей, шахт, колодцев, спусков, подъемов, ответвлений, лестниц, ступеней,

загородок, тупиков, различных складов и хранилищ, голубых комнат с глазурированной плиткой и резьбой, камер, украшенных рельефами, параллельных коридоров, уходящих куда-то вниз, ниш, погребальных камер, ловушек... И вся эта паутина создана только для того, чтобы вы поймались в нее и не думали больше ни о чем другом.

Сторож задумался, видимо, прокручивая перед мысленным взором бесконечную ленту подземного лабиринта.

– Пирамида по внутреннему строению напоминает человека со всеми его органами и системами... Там и располагается ее душа... И вы знаете, так и кажется, что за очередным поворотом появится жрец с прямоугольными плечами и факелом в руках или вас обдаст горячее дыхание какого-нибудь человекобыка.

«Поэт на пенсии», – подумал я.

– Да, я ведь вам обещал про это здание рассказать. Так всегда: начинаешь одно, а получается другое. Начинаешь жить жизнь одну, а заканчиваешь жить уже, увы, другую. А говорят, что жизнь одна, – у Сторожа блеснули глаза. – У нас тут, знаете ли, жрецов и минотавров нет, но чудес хватает. Да и здание замечательное. Помимо двух этажей, об истинных размерах которых вы и не догадываетесь (вы ведь у нас тоже не были?), с множеством залов и кабинетов, лабораторий и закоулков, мастерских и лестничных площадок, есть еще необъятный чердак, используемый хорошо на четверть, чередование лестничных маршей в самых неожиданных местах, целая сеть подземных галерей. Ручаюсь, даже комендант не знает всех закоулков, клетушек и коридоров, пересекающихся под самыми разными углами и идущими на разных уровнях. Есть заведующий «Галерами», а спросите у коменданта, что это такое, услышите мычание. Когда-то эти галереи шли под всем городом к реке. Кое-где сохранились еще рельсы узкоколейки, по которым возили семисоткилограммовые вагонетки с грузами от баржевых причалов. После гражданской – ни купцов, ни грузов, естественно, не осталось. Появились зато всякие неистребимые, как все кровососущие, коммунальные службы, канализация, теперь вот метро. И все они друженько это подземное царство разрезали, расчленили, как богатырское тело, на никому не нужные, но каждой службе принадлежащие части. «От одной мощи остались одни мощи» – вы совершенно правы. Да-да, тот же Египет в наших уездных масштабах. Собрать это теперь воедино бессмысленно, никакая живая вода не поможет. Даже если это – живая вода «Нелепица». И спросить никто не спросит, и отвечать некому. С пирамидами как-то все по-иному... Может, оттого, что в них душу заложили, а не просто труд и деньги. Около реки сейчас ремонтируют бывшую биржу – сдаётся мне, что туда и сегодня еще можно попасть под землей – там, в ее подвалах, и хлеб прятали, и золото, и архивы, и люди по очереди пытали друг друга. Планируют и в музее через пару лет заняться капитальным ремонтом, значит, и тут окончательно все загубят.

### Глава 3. Появление Рыцаря и еще несколько упоминаний о Галерах

Неторопливую речь Сторожа прервал приход директора. В директоре все было тяжелое: и слова, и поступь, и взгляд, и нижняя челюсть. Словом, хорошо сохранившийся чеховский герой. Видимо, таким и должен быть директор. Все в нем говорило о том, что он ни разу не выезжал из своей и нашей области, скажем, в Австрию или на Мальдивы.

Мы поднялись на второй этаж, прошли мимо дверей с колокольчиками и табличками: «Отдел кадров», «Главбух», «Галеры», «Главный хранитель». Директорский кабинет был открыт. Секретарша сидела на столе и двумя пальцами вылавливала со дна банки соленый огурец.

– Так! – сказал директор и смахнул секретаршу со стола, как кошку. Та успела выхватить из банки огурец. – Что тут у нас сегодня? – перелистав абсолютно чистый еженедельник взадвперед, он удовлетворенно хмыкнул и сказал: – Так! На сегодня ничего.

Потребовав от меня направление, он тщательно изучил распечатку с приказом, согласно которому я с сегодняшнего дня зачислялся в штат исторического музея на должность ведущего научного сотрудника.

– Так! Ведущим! Тоже мне – «Як-истребитель». Прежде чем стать ведущим, надо немного походить ведомым. Здесь ведущий один – я.

«Интересно, кто здесь везущий?» – подумал я, но, вспомнив наставления Сторожа, благоразумно промолчал, хотя о каком благоразумии можно было говорить в моем положении?

Вызвав по селектору главного хранителя, директор уточнил у него, в третьем ли зале рыцарь.

– Он, наш главхранец, занимался вместе с Владимиром Шмаковым (я имею в виду пространство их интересов, а не время) реконструкцией священной Книги Тота и посвящен в тайну всех двадцати двух Великих Арканов Таро и пятидесяти шести Малых, – неожиданно изрек директор, когда главный хранитель покинул кабинет. – Значит, так! – перешел он на свой обычный тон, исподлобья глядя мне в переносицу. – Сейчас мой секретарь проводит вас в третий зал – вы у нас не бывали? – там переоденетесь и пойдете – уже один – в зал номер шесть. Свет-с-ка, передай главхранцу, чтобы его, – директор ткнул в меня толстым большим пальцем, – не забыли снять с учета. Вот обходной лист, – директор протянул мне типографский листок. – Соберите подписи.

– А я успею? – на листке было перечислено никак не меньше сотни различных служб и отделов.

– Успеете. Куда вам деваться! Что это у вас? Оставьте здесь. Вот сюда.

Секретарша, дожевывая огурец, взяла меня под руку и бережно повела, как слепого через дорогу. В другой руке я, как мальчик, зажал бегунок.

– Короче, у нас тут на прошлой неделе фотографа с двумя практикантками застукали. В день профилактики. Ну, а они голенькие, как огурчики, в натуре, – хихикнула поводиры. – Натурально, в третьем зале. Фотографи-ируются! Фотограф руки вот так сделал, – секретарша на мгновение отпустила меня (и вот оно ушло, это мгновение, ушло безвозвратно – и вновь ведом я неведомо куда), – и в рыцаря залез, а практикантки козочками на подиум попрыгали, ножки поджали и замерли. Одна желтая, а другая синяя и – дрожит. Смех! Ну, их тут же методсовет в бойлерную сослал, «остудиться», а фотографа – прямиком на Галеры.

Мы спустились на первый этаж, прошли мимо пультавой, кабинетов главного инженера и коменданта, кладовки, дворницкой, еще каких-то помещений хозяйственной службы, мимо закутка под лестницей, откуда несло селедкой пряного посола, снова поднялись по широкой

лестнице с широкими дубовыми перилами, долго шли, как пишут в путеводителях, «анфиладами дворца», то бишь нас нес сквозняк залов, мимо витрин, щитов и подиумов, от множества экспонатов и их многообразия у меня рябило в глазах. Похоже, девяносто девять процентов человечества трудится исключительно над изготовлением музейных экспонатов, а оставшийся процент эти экспонаты хранит и стирает с них пыль. Хорошо, а кто же эти экспонаты смотрит?

– Вот тут наследие нашего заслуженного таксидермиста, – ткнула пальцем в закрытую дверь секретарша. – Экспозиция закрыта на учет. Таксидермиста сослали за срыв плана на Галеры. А вообще-то есть интересные штучки. Он немало по свету хаживал, говорят, и на тот заглядывал. Опасная работа, чего там говорить. Много шкур и чучел. Шкура снежного человека. Пещерного. Вот тут моль немного поела. Два леших. Русалки на ветвях сидят. Опять мальчишки подвесили! Чучело дракона из Восточно-Китайского моря. Потом эта, Лесси или Несси, не помню точно, из озера. Ведьма на метле. Этот, из Греции, на козла похожий. Какие-то гуманоиды, во-от такого росточка. Прямо в летающей тарелке. «Bottom» по ободку написано. Была даже Горгона. В зеркальном ящике с законтренными ушками, биркой ОТК и пломбой – все как положено. То ли спер кто, то ли сама удрала. Замдиректора, как узнал, окаменел. Он прямо у входа стоит. Охраняет здание. Как лев. «Апофеоз горя». Его так директор назвал.

Поднявшись снова на второй этаж, а потом по винтовой лестнице еще выше, мы миновали огромную дверь с чугунными засовами, покрытыми кузбасшлаком, ведущую, видимо, на чердак, снова спустились на второй этаж, затем на первый и, свернув направо, попали в третий зал. Зал был практически пустой. В одном углу на большом трапециевидном подиуме, обтянутом стального цвета тканью, стоял черный рыцарь с секирой и щитом, а напротив него, рядом с огромным старинным зеркалом в массивной резной раме красного дерева, на стуле без спинки сидела старушка-смотритель. Кто из них был старше – рыцарь, старушка или зеркало – вряд ли знал даже главный хранитель музея. Да, еще и стул туда же.

Увидев нас, старушка вскочила. Как попугай, повертелась перед зеркалом, стараясь разглядеть себя сзади (наверное, из собственной юности), и со вздохом уселась на прежнее место. Рыцарь не шелохнулся.

– Короче, милочка, – обратилась к старушке секретарша. – Выйдите, пожалуйста, вон! Товарищ переоденется.

– Знаю я тебя, переоденется! – воскликнула смотритель и, подскочив ко мне, жарко зашептала на ухо: – Ты осторожней с ней, она секретарша всех шлюх и блудниц, каких только можно сыскать в округе. Ей этот поставили, как его, спидометр. Закодировали, словом.

– Дура вы, милочка, – спокойно сказала Свет-с-ка. – Дура в кубе, – и, расписавшись в моем бегунке, удалилась.

– Какая невоспитанная молодежь! – воскликнула с наигранным пафосом смотритель. – Я ветеран труда, вот удостоверение, пятьдесят лет проработала в школе, из них двенадцать директором, но такого при мне не было!

– Так вы же здесь не директор, – успокоил я ее.

– Такого не было! Да вы переодевайтесь, переодевайтесь, не смущайтесь. Я тут всякого насмотрелась.

– А я и не смущаюсь. Душно, однако.

– Вентиляцию включают перед уходом, в шесть вечера. Как после войны, ха-ха! А окна и двери не открываются – свежий воздух губительно действует на экспонаты.

– Этим железякам, похоже, ничего не страшно, – сказал я, примеряя рыцарскую форму. – Сколько по ней колошматили мечами и дубинами – и ничего.

– Вы кафтанчик, кафтанчик не забудьте! Он там, внутри, и шапочку, а то натрет. Кальсончики...

Я с интересом разглядывал и натягивал рыцарские причиндалы.

– Надо же, из шлема «Шипром» несет!

– Это любимый одеколон нашего опального фотографа. Резковатый, конечно, запах. «Огуречный» помягче будет. Фотограф перед ссылкой примерял эту рыцарскую форму. Вот и провоняло. Я с ним посылочку сыну передала! Сала домашнего и сливянку! А еще...

– Что вы говорите! А я думал, пахнет от прежнего владельца. С тех еще славных времен.

– У меня на Галерах сын! – неожиданно сильно, с гордостью, произнесла старушка прямо мне в ухо. Я невольно отодвинулся от нее. – У него кандалы и ядро на ногах. Особо вредные условия, дающие право на льготное пенсионное обеспечение. На пенсию отправят в пятьдесят лет – по первому списку, согласно Постановлению Кабинета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 года. Осталось полгода. Жду – не дождусь. Но мне заботливые люди точно обещали отправить его на пенсию без проволочек. А о вас тоже заботливые люди позаботились, когда направляли сюда?

– Чтоб они сдохли! – отрезал я, надеясь нарочитой грубостью отвязаться от назойливой старухи.

– Нет, – возразила старуха. – Пусть они лучше живут.

– Им уже лучше жить некуда.

Наконец я с трудом, не без помощи зрителя, облачился в доспехи. На меня пристально посмотрел железный незнакомец и, повторив все мои угловатые движения, вышел из зеркала. Что ж, черный человек, отныне ты будешь со мной.

– До свидания. Вы остаетесь здесь? Караулить-то больше нечего.

– А я только до шести вечера после войны, а потом домой пойду, сына ждать. Я его уже четверть века жду.

Я взял в руки короткую острую секиру и круглый щит.

– Секирочка-то знакомая?.. – в глазах зрителя появилась настороженность.

– Знакомая, – успокоил я ее. – Это секира амазонки царицы Пентесилеи.

– А откуда вы ее знаете?

– Да как вам сказать... Приходилось встречаться. И щит знакомый. Ну-ка, что тут на нем сзади? Так, начало слова стерто, как всегда... Слава богу, не «Zepter», но тоже что-то немецкое... Конец слова – «...фест». По-немецки, кажется, «прочный». А, это же «Гефест». «Выковано Гефестом». Хорошая фирма. Что попало не кует.

Добрую старушку распирало от любопытства, а меня от фантазий:

– Полслова имеет совсем другой смысл, чем полное слово, не так ли? – рассуждал я. – Хотя в данном случае «фест» и «Гефест» близки по смыслу.

Старушка, несмотря на свой длительный преподавательский стаж, не нашла, что мне ответить на столь остроумное замечание.

– Я, когда шел в музей, на бетонной стене увидел надпись огромными буквами: «лосуто оян». Как вы думаете, что это означает?

– Чего-то китайское.

– Я тоже так сначала подумал. Но откуда в Воложилине китайское? Нет, оказывается, это остатки от названия: «круглосуточная стоянка». Всякие остатки и останки по меньшей мере загадочны и будят воображение. Попади эта надпись лет через триста на глаза дотошному историку, он и взаправду наклепает диссертацию на тему освоения воложилинских земель китайцами.

За разговорами я хотел прихватить секиру (в пути пригодилась бы), но у старушки еще не закончилось время охранять камни.

– А секирочку оставьте, мил человек. И щиток тоже. Насчет них никаких особых распоряжений не было. Они под другими номерочками идут. Я за них в технике безопасности расписалась.

Мы сердечно распрощались. Я пошел непонятно куда, а она осталась охранять голого фотографа, разноцветных девиц на подиуме, мрачного рыцаря на сером коне, проплывающих

в зеркале красавиц с пленительными улыбками и роскошными плечами, осталась охранять свою давно потерянную память.

Выйдя из третьего зала, я прошел вестибюль и оказался рядом с камеркой Сторожа. Подняв глаза от книги, Сторож изучил меня и задумчиво произнес:

– Готфрид Бульонский. Король Иерусалимский. Один из девяти мужей Славы. «Под портиком мечети было по колено крови, она доходила до уздечек лошадей...» Впрочем, тибетцы уверены в пользе кровопускания. Говорят, оно выводит плохую кровь. Вы, сударь, надеюсь, не в Палестину собрались?

– Дукатов нет, – ответил я.

Сторож испытующе поглядел на меня, изрек:

– Просите же, и будет вам дано.

И, повертев в руках костяной нож, углубился в чтение.

Меч раздобуду да и начну просить, подумал я. Дукатов нет ни на коня, ни на щит, ни на меч. Ни на харч, ни на постоялый двор, ни на маркитантку. Сказано: просите. Знать бы – кого. О чем. И зачем. Как совместить: «просите – дадут» и «не просите – сами дадут»? Хорошо декларировать афоризмы. Просить плохо. Проще самому отдать последнее, что есть. И не думать. Ни о чем. И никогда. И идти, куда глаза глядят. Если они еще глядят.

## Глава 4. Боб не захотел быть сволочью

Через час я привык к доспехам, как будто родился в них. Несмотря на их почти трехпудовую тяжесть и жаркий день, я чувствовал себя почти комфортно. Продолговатый кованый шлем не болтался и не сжимал голову, а ремень подбородника не врезался в кожу. Забрало, в форме орлиной головы, не падало само собой, как щиток у сварщика, а довольно плотно сидело на винтах. Когда забрало было опущено, сквозь решетку его был довольно хороший обзор. Нашейник, нагрудник, наплечники, набедренники, наколенники – все это, вопреки моим ожиданиям, не сильно сковывало движение. Живота, к своим сорока пяти годам, я не отрастил и потому совсем не ощущал давления железной сетки. В черном панцире, как у громадного жука, я был, конечно, неуклюж, но пышный павлиний султан на гребне шлема должен был придать моему облику нечто величественное. Во всяком случае, Сторожу я напомнил не кого-нибудь, а Готфрида Бульонского.

Я быстро шагал и не мог избавиться от иллюзии, что доспехи сами несут меня неведомо куда. Видно, усердные смотрители не смогли стереть вместе с пылью дух рыцарства. И мне казалось, что я отлично знаю никак не менее сотни приемов фехтования – римских, тевтонских, русских и японских. Во всяком случае, я очень хорошо представлял, как прорываться сквозь шеренгу противника, как сбить с коня всадника, как правильно занять оборону против двух-трех нападающих. Вот только меча не было, и противники куда-то подевались. Впрочем, стоит появиться одному, тут же появится и другое.

Рабочие в черных халатах несли навстречу большие выставочные щиты, витринные стекла, волокли по полу громадные подиумы, деревянные ящики, тащили доски, планшеты, дюралевые трубы, швеллеры и уголки, на тележках везли коробки с магнитофонами, вентиляторами, пылесосами, утюгами, ванны, унитаза, кипы ватмана, рулоны материи и наждачной бумаги.

– Переезжаем? – спросил я у парня, попросившего у меня закурить.

– А! В бухгалтерию тащим, на годовую сверку, инвентаризация называется. Специальная комиссия уже шестой месяц работает, а еще и половины не разнесли по счетам и учетным ведомостям. Если успеем все учесть – в конце года получим премию в размере двенадцати окладов.

– А как часто проводится такая проверка?

– Да каждый год! Второго января начинается, тридцать первого декабря завершается. Без работы не остаемся, – засмеялся парень.

Время, в отличие от меня, подходило к обеду, а я все шел и шел по бесконечным коридорам (точно это были материализованные коридоры власти, которые ведут случайно попавшего в них человека, но никуда не приводят), то поднимаясь по лестницам, то опускаясь, то поворачивая направо, то налево, то попадая в фонды, то на экскурсию. И кого бы я ни спрашивал о шестом зале, все показывали в разные стороны, точно находились на магнитном полюсе. В конце концов, я потерял всякие ориентиры, будто и сам оказался в развалинах толедского дворца принцессы Гальяны. По обе стороны коридора, в котором я очутился, были склады и кладовки, мастерские электриков, столяров, сантехников, реставраторов, таксидермистов, фотографов, художников, экспедиционные комнаты, туалеты, душевые, бойлерные, лифты, вентиляционные шахты, чуланчики для уборщиц, электрические шкафы и щитки... Несколько раз попадалась кованая металлическая решетка, с причудливым узором из квадратных прутьев и пластин, перегораживающая зал с окнами в парк. Ручка решетки была выкована из цельного прутка в виде ветки розы.

У одного из поворотов стояли двое. Женщина с чувственным ртом и озорными глазами воркующим голосом, как бы венчающим воркующий голос тела, говорила породистому мужчине, являющему собой нечто среднеарифметическое из Дюма-отца и Михалкова-сына:

– Боб, не будь сволочью! Ты берешь меня на работу?

Слегка поддатый и слегка задетый, Боб не хотел быть сволочью и спросил:

– Тебе тысячи хватит?

– В неделю?

– Мы не в Штатах. В месяц. Пенсионеры вон по четыре сотни получают. Стыдись.

– Бо-о-об! Что, я только в два раза производительнее пенсионера?

– В два с половиной. Тыща в месяц, и чтоб я тебя на работе не видел! Сиди дома и занимайся вышивкой или ку-клукс-кланом: кухня, кирха энд киндер. Когда понадобится – я тебя найду сам.

– Бо-о-об!

Боб влажно блеснул глазами и покусывал свисающие усы, а ноги гарцевали у него сами собой, как ноги крупного жеребца-производителя чистокровной верховой породы.

Сразу же за поворотом были люди. Граждане выстроились вдоль стены и, видимо, чего-то ждали. Не иначе как прихода карателей.

– Вы куда, гражданин? Я к вам обращаюсь!

– В шестой зал, – ответил я мужчине с внешностью организатора.

– Все в шестой. Займите очередь.

– А чем ее занять?

– Собой, – любезно ответил организатор.

Пока я занимал собой очередь за Бобом и его приятельницей, твякающий голос два раза произнес:

Он думает, в доспехах ему можно без очереди! Обнаглели вконец!

Я повернулся к моське сучьего рода и никого не увидел, точно твякал стужок спертого воздуха.

Сдав очередь, как сдают кровь или мочу, я пошел глотнуть свежего воздуха. Что-то потянуло меня на свежий воздух, в одну из фундаментальных стихий мироздания.

## Глава 5. Большая, поскольку появляется Рассказчик. О кракле, фру-фру и бараньей няне

Кто-то справедливо заметил, что путь туда и путь обратно – вещи разные. (Все дело в петле гестерезиса). Я никак не мог найти выход и долго шел по извилистому коридору, пока не попал в огромный зал с паркетным полом, посреди которого четыре колонны, увенчанные коринфской капителью, взметнулись на десятиметровую высоту. Огромная хрустальная люстра была соразмерна залу и стояла, видимо, не одно состояние у них, у прежних ее хозяев, и ничего не стояла у нас, так как после ремонта здания исчезла два года назад вместе со строителями, и все поиски ее (которые так и не были предприняты) оказались безуспешными. Об этом свидетельствовала табличка у входа в зал, в котором вдоль стен и посередине в строгом орнаменте застыли «островные астраханские» витрины, пронизанные светом, с изделиями тонкой керамики из фарфора, фаянса, майолики. Площадью зал был не меньше ста двадцати соток, при хорошем урожае с такого участка можно было бы взять мешков триста сортовой картошки.

Экскурсовод, очень молодая яркая женщина невысокого роста, но явно высокого мнения о себе, бойко рассказывала посетителям об истории создания, технологии изготовления экспонатов, о жизни и творческой судьбе мастеров керамики. Посетителям было интересно – хорошо скользить по паркету в матерчатых тапочках, завязанных шнурочками на щиколотках. Как водится, шнурочки были саморазвязывающиеся.

– Бисквит – матовый неглазурованный фарфор, а селадон – фарфор, покрытый серо-зеленой глазурью. Вот это, обратите внимание, так называемая «техника кракле» – фарфор обрабатывается таким образом, что на поверхности образуется сеточка мелких трещин.

– Как разошедшийся лак, – догадался высокий мужчина.

– Да, это имитация трещин. Обратите внимание: эти бокалы, цветные, с филигранью, а вот, кстати, тоже «кракле», это все венецианское стекло. Не правда ли, в самом сочетании слов «венецианское стекло» есть какое-то волшебство? Со словом «венецианский» все звучит красиво: венецианское стекло, венецианское зеркало...

– Венецианская низменность, венецианский залив, – поддержал мужчина, – Венецианская музыкальная школа – Монтеверди, Венецианская художественная школа – Джорджоне, Тициан, Веронезе...

– Благодарю вас, – сухо сказала экскурсовод.

– ...Тинторетто. Должен вам сообщить, – обратился мужчина к присутствующим, – что слово «венский» не менее замечательно, сочетание многих простых слов с ним меня просто пленяет: венский вальс, венские стулья, Венский лес, венские булочки, Венская опера, венская коляска, Венский университет, Венская классическая школа – Гайдн, Моцарт, Бетховен... А венецианские холсты пятнадцатого века (еще немного о венецианском) с изображением лиц в ракурсе три четверти, или «полтора глаза», венецианский суп с раковыми шейками... Достаточно? – спросил он у экскурсовода.

– Вполне, – сказала та. – Благодарю вас. Мы отвлеклись от нашей основной темы.

– Да, наша основная тема – венецианские и венские девушки – возвышенная тема! Но не буду вас больше отвлекать.

Экскурсовод старательно и с большим желанием, что свидетельствовало о спринтерском старте ее музейной карьеры, сыпала терминами, датами, именами и сама была хорошенькой иллюстрацией к данной теме, напоминая изящную японскую вазочку. Личико ее разругалось и выглядело очень чистым. Безумием было бы обрабатывать такое лицо «техникой кракле».

– Он, как Пигмалион, влюблялся в созданные им шедевры и, как гофманский Кардильяк, скорее убил бы своих заказчиков, чем отдал им исполненный заказ. Благодаря этой страсти, он собрал огромную коллекцию, от которой, к сожалению, осталось только пять с половиной процентов экспонатов. Все они представлены здесь. Остальные погибли и исчезли в начале этого века...

– Иных уж нет, а те далече, – пояснил мужчина. Экскурсовод сделала попытку улыбнуться, но это у нее не получилось. Как у солдата после кросса в противогазе.

– А эту часть коллекции спасла Ефросиния Павловна Беклемешева, жена известного в наших краях общественного деятеля. Умирая, она завещала ее нашему музею...

– Что, наследников не было? – полюбопытствовал высокий мужчина.

Красавица не ответила, подтвердив мое первоначальное впечатление, что она страшно далека от народа. Да, быть в скором времени, быть ей начальником не народа, так отдела. Это как пить дать. Становится жарко, раз захотелось пить.

– А сколько она стоит, эта коллекция? – не унимался мужчина.

– Она стоила жизни Ефросинии Павловне Беклемешевой, – неожиданно сухо и резко, поджав губы, ответила экскурсовод. Она была прелестна в своем неземном гневе.

– Хотите, я его убью? – спросил я у нее.

– Ему это не поможет, – вздохнула она, одарив меня очаровательной улыбкой, и, как квочка цыплят, повела посетителей в другой зал. А я вдруг вспомнил, что есть Приап, бог сладострастия, и пошел вместе с ними.

В соседнем зале, гораздо меньшем и более уютном, чем предыдущий, была выставка из фонда открытого хранения музея – «Одежда XVIII – начала XX века». Экскурсовод поджидала рассыпавшихся посетительниц (а их было в группе большинство; собственно, в любой группе – женщин всегда больше мужчин: будь то султанский гарем, раздача в столовке или экскурсия по Эрмитажу) и рассказывала что-то двум парням с горящими, как у котов, глазами.

Глядя на роскошное платье начала этого века, рыжая сударыня, не потерявшая в унесшейся череде ее лет броской привлекательности, подыскивала весомый аргумент, чтобы как-то уменьшить впечатление, произведенное на нее этим платьем.

– Нет, ты знаешь, – говорила она подруге, – сейчас все-таки как-то спокойнее. В таком выйти – не то что вечером, днем разденут. А в это, – она приподняла подол своего серенького платьица, – прыгнула и ходи – никто не взглянет, не то чтобы раздеть.

– Почему же? – возразил высокий мужчина, оказавшийся рядом. – Желающие всегда найдутся.

Рыжая повела глазами, и сразу стало видно, что она не прочь проверить сказанное. (Порой на женском лице такое отражается, что видавшие виды венецианские зеркала лопаются от досады). Мужчина сразу стушевался, но рыжая продолжала постреливать на него глазками, и дать ей можно было не больше тридцати – впрочем, она их могла еще и не взять.

Наконец суетливые посетители погасили свое броуновское движение, сконцентрировались вокруг экскурсовода, и она продолжила свои дозволенные зажигательные речи. Однако и в самом деле, сколько здесь было всякой женской одежды! Розовые и голубые парадные костюмы из глазета с вышивкой вязью, полупрозрачные платья из батиста, атласа муаре, шелкового бархата, абажуроподобные кринолины, дамские приталенные казакины цвета вишни в солнечных лучах, кружевные черные мантильи «изабелла» с длинными спинками и передом до талии, шарфики из прозрачного газа-иллюзиона, эшарпы с кистями и вышивкой, длинные шлейфы и птичьи боа, кашмирские и турецкие шали, русские двусторонние шали из мериносо и шерсти сайгака, черные казимировые штиблеты с пуговками из слоновой кости, причудливые тюрбаны разнообразных форм и расцветок, браслеты, серьги, диадемы, веера слоновой кости, изделия из янтаря и эмали, словом, парюра. Экскурсовод так заразительно рассказывала о фасонах платьев, о забытом ныне искусстве одеваться красиво и с достоинством носить одежду на людях,

что таки рождалась иллюзия: вот сейчас, здесь, все женщины скинут с себя серые шкуры, именуемые повседневной одеждой, примерят не спеша эти разные модели и станут все такие стройные и спокойные, их плечики расправятся, спинки развернутся, поднимутся подбородки и носики, и во взоре появится что-то такое, о чем все давным-давно забыли.

– В кринолине, – рассказывала экскурсовод, – надо было скользить, как лебедушка, не покачивая бортами каркаса. Газовый шарфик эшарп надо было так повязать на шею, чтобы и заметно не было, что он специально повязан, а будто бы на шее с рождения. Да еще концы надо было перекинуть через локти, чтобы и вышивка была видна и белизна рук не скрыта. Для придания рельефности женской фигуре надо было так собрать сзади юбку, накрутить и защепить фру-фру...

– Это кобыла Вронского – Фру-Фру. У нее было нежное выражение лица, – громким шепотом пояснил высокий мужчина.

– ...чтобы не было чрезмерно пышно. Хотя пожилые дамы часто заблуждались и были склонны делать фру-фру побольше.

Мужчина надул щеки, но ничего не сказал.

– А уж о манере поддерживать шлейф в движении сплетничали во всех гостиных и дворцах обеих столиц. И вообще, надо было исхитриться при такой длине юбок показать хорошенькую ножку, – она изящно приподняла край юбки, – и при таких декольте спереди и сзади сформировать изящный силуэт и умерить размеры груди до размеров, приличных в светском обществе...

– До приличных размеров.

Наконец-то она улыбнулась так, как должна улыбаться хорошенькая женщина, когда мужчина, к несчастью, зануда. Чувствовалось, этот зал был ей близок, как и любой женщине, которая себя ощущает настоящей женщиной только в двух случаях: когда она с иголки одета или совсем раздета, о чем она, кстати (и некстати), не устает говорить даже в три часа ночи.

Посыпались вопросы. Мне это всегда напоминало осень: вопросы падают, а все ответы давно уже валяются на земле. Я вышел из зала, спустился по лестнице в вестибюль. Парадная дверь была открыта настежь. Можно было выйти. Можно было еще выйти, но я остался. Из зала вышла экскурсовод и остановилась возле меня на сквозняке.

– Жарко сегодня. Замечательный день, – сказала она, жадно вглядываясь в зелень парка и синеву неба. – Вы наш новый сотрудник?

– Да, ведомый.

Мне было интересно смотреть на нее. Возбуждение и румянец еще не покинули ее лица, и она, чувствуя это, дабы не конфузиться, спросила еще:

– Вам, видимо, в шестой зал?

– Да, видимо, в шестой.

– Это направо. До свидания.

– Благодарю вас. Всего доброго.

И она ушла, а я представил себе, как ее где-то в бетонном девятиэтажном доте вечером будет ждать мужчина, и мне вдруг стало страшно одиноко...

– Простите, который час?

Я обернулся. Высокий мужчина неуловимого возраста, достававший девчужку своими вопросами, дружелюбно смотрел на меня.

– Четверть второго, – указал я ему на круглые часы над входом и отвернулся, так как еще не испытал до дна сладость своего одиночества и не был расположен к беседе.

– Однако, хочется жрать, – заявил незнакомец. – Вы как?

Я неопределенно пожал плечами.

– Тут есть забегаловка, – оживился он. – Вон в том тупике. Последняя в своем роде. Гарантирую, там вам гуляша с изжогой или блинчиков с отрыжкой не подадут. Там повар всех

посетителей старинными кушаньями балует. Дороговато, но вкусно. А тех, кто в шестой зал идет (вы же в шестой?) и покажет бегунок, – кормят всего за рубль пятнадцать, независимо от количества съеденных блюд. Это называется «специпитание по первому рациону». Идем?

Мы пошли. В небольшом уютном закутке мы заняли столик и заказали жаркое по-гусарски и баранью няню. Повар расписался в моем бегунке. Мой спутник бегунок не достал, а просто махнул рукой в мою сторону – «я с ним», и повар пошел на кухню. Не успели мы помолчать друг с другом, явились блюда: жаркое по-гусарски в грибочках и килечках, а к нему жареная хрустящая картошечка, и няня из бараньей лопатки – прямо из духовки, с пропевшей в сливочном масле гречневой кашей. Потянув носом, я вспомнил, что не мешало бы снять шлем. Да и железные перчаточки заодно. Даже в приличном обществе можно ко всему привыкнуть, но только, наверное, не к перчаткам. Я швырнул их под лавку. Мужчина помог мне снять шлем.

– Тяжелый, – сказал он, – килограмма три.

– Шесть.

– В весе, расстоянии и во времени я всегда ошибаюсь ровно в два раза, но зато по части вкусовых ощущений и запахов я эксперт-дегустатор.

Я никогда не сомневался, что в человеке может сидеть зверь, но никак не предполагал, что этот зверь может быть таким голодным. Мы так уписывали жаркое и няню, что трещало за ушами и некогда было обмолвиться словом. Порции были преизрядные и вполне хватило бы одного блюда, чтобы набить брюхо. Но у голодного, верно говорят, два брюха: одно – так, другое – на всякий случай. Однако мы умяли все до крошки и хлебом подчистили тарелки.

– Повар останется доволен, – проорчал эксперт.

Тут весьма кстати довольный повар принес нам по тарелке прохладительных вишен, предварительно выдержанных в игристом вине и переложенных корицей, гвоздикой, лавровым листом. Вишни были залиты медом. Венчал наш скромный обед клюквенный квас, поданный в двух высоких отпотевших стаканах, с гравировкой «Счастливого пути!» с одного бока и нашими именами с другого.

– Да уж, – сказал я, – за рубль пятнадцать...

– Уж замуж невтерпех – и за рубль пятнадцать. Вообще-то в музеях закусокных не должно быть, но я не знаю такого музея, где бы их не было. Хотя такое питание крайне вредно с позиций раздельного питания. Но с другой стороны, питаться раздельно – это все равно, что заниматься любовью с женщиной в разных комнатах.

Я надел шлем и мы вышли, сердечно попрощавшись с поваром, наотрез отказавшимся от чаевых. «Жаль, что спешите. А то попробовали бы еще индейку по-рыцарски».

– Ну что, куда? – спросил мужчина, ковыряясь в зубах. – В очередь не хочется. Настоимся еще. Поищем где-нибудь укромное местечко, посидим, отдохнем.

– Я не прочь и всхрапнуть, – зевнул я.

Мы нашли пустую комнату с каким-то хламьем на полу и расположились на отдых.

– Что с этим чертовым бегунком делать? – спросил я. – Тут уйма подписей.

– Я подпишу, – небрежно бросил мужчина и, взяв мой бегунок, повертел его, рассматривая, вздохнул: – Ничего нового! – и аккуратно, с тщанием сто раз вывел свою подпись. Ему это доставляло видимое удовольствие, у него, как мне показалось, в этот момент усилилось слюноотделение.

– И кому его теперь?

– Найдется кто-нибудь. На этом добре целая гвардия сидит, – он достал из заднего кармана брюк маленькую плоскую фляжку, отвинтил крышечку, плеснул в нее темную жидкость и протянул мне.

– «Белый аист». Напиток забвения. На брудершафт. Руками только вязать знак бесконечности не будем – с бесконечностью не надо шутить. Да и эдакой мусей-пусей как-то выглядеть...

Коньяк был добрый, но тепловатый.

– Парниковый эффект, – пояснил он, ткнув себя в зад. – Но если вообразить, что сейчас трескучий декабрь, – очень даже ничего. На морозе трещат сучья ну и жизнь же наша сучья. Где запятые поставишь? Еще?

Я указал эксперту на объявление, нацарапанное на листочке: «Пропала собака сука верни за вознаграждение», – и сказал:

– А зачем запятые? С ними пропадает ажурность конструкции.

Мы хлопнули еще по одной, потом, для завершенности, по третьей – я из крышечки, он из фляжки. О запятых, понятно, больше не вспоминали.

– А-а... Спасибо, аист, спасибо, птица. Ну как тут было не напиться!

– А ты кто? – напрямик спросил я его.

– Я? Я теперь твой коньячный брат. Мы теперь с тобой в одном коньячном братстве. А вообще-то, я Андрей-стрелок: пойдешь туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что. Разве мы знаем о себе: кто мы, откуда и куда, разве мы знаем ответ на вопрос «зачем?» Нам нельзя дать имя, так как имя убьет нас. Мы как Одиссей, никто, вечные странники, осенние листья. Сейчас вот несет нас в шестой зал.

– Ну и болтать же ты горазд, «агасфер», – сказал я. – Бери свой крест и пошли.

Меня взяла легкая досада. На простые вопросы, видно, никогда не получишь простых ответов. Что за день сегодня. День болтунов.

– Я не болтун. Я – Рассказчик. Цыганки по руке гадают и врут про судьбу, а я по твоей судьбе расскажу все о тебе, даже какие у тебя руки и какая там на руках хиромантия. Не Херо – Хиро, все почему-то путают. Был такой искусник.

«Хм, – подумал я, – ну и спутника мне послал Господь!»

– Да, альтер эго своего рода, – подтвердил Рассказчик. – Ну что ж, – помолчав, продолжил он. – Чтобы не быть голословным – слушай о себе мой сказ. Начну с рождения. Твоего, разумеется. Разувай-ка, Рыцарь, ухо – моет руки повитуха.

## Глава 6. Рождение Мурлова. Эвдаймония

– Да-да, врут цыганки про чужую судьбу. Что знают они о ней? – повторил Рассказчик. – О своей-то судьбе ничего не знают. Им не дано. Я знаю твою судьбу. И не только твою, – в голосе его зазвучала торжественность, заставившая меня забеспокоиться – уж не сумасшедшего ли отрядила мне в спутники судьба? Словоохотливость – не порок, но есть в ней что-то болезненное. Занудность (мне больше нравится слово «занудство») ведь тоже болезнь. А если человек болен сам, видит ли он в другом здоровое?

– Слушай же правду, одну только правду и ничего кроме правды.

– Да-да, пожалуйста, будьте так любезны, – попросил я.

– Родился ты в мае сорок шестого... Нет, так не пойдет. Еще зазнаешься. Вы, тельцы, хоть и любите земные радости, но тоже большие зануды. Вы любите, когда говорят о вас, но нельзя же говорить только о вас. А вы к этому привыкаете очень быстро. И главное – не все же я буду говорить о тебе лицеприятное. И здоровое, – улыбнулся он. – Не напрягайся, на Тибете общаются без слов – люди самых разных рас и национальностей. И даже профессий.

«На Тибете не бывали?» Не у того спрашивал, Сторож.

– Мне не хотелось бы нажить в твоём лице тайного или явного врага. Нам ведь с тобой еще долго быть вместе. Согласись, ведь ты не безгрешен. Вот и давай договоримся, пока на берегу. О тебе я буду говорить в третьем лице, как о Боге, а лучше, как о нашем общем знакомом...

\*\*\*

Итак, родился малыш в черную майскую ночь. Вся земля была пропитана запахом сирени, а от тишины и беспричинного восторга слезы сами собой выступали на глазах. И были слезы эти прекрасны, как вода – неизвестно откуда – на дне пересохших колодцев.

В огромный мир явился малыш. Явившись на свет, который оказался электрическим, он загадочно молчал, не орал и не плакал, как все новорожденные, развивая криком свои легкие. Признаться, он озадачил повивальных бабок и девок: ведь первое, что надо сделать, когда являешься на свет, – заорать, чтобы тебя услышали. А уж потом, чтобы слушали, надо орать всю жизнь. Это только с того света не докричишься. Малыш часто-часто бормотал губами, точно хотел поведать какую-то тайну, и упорно молчал, пока его не стукнули по сморщенной попке ладонью. И тогда он произнес первое свое слово, которое оказалось древнегреческим: «Эвдаймония». Поскольку медперсонал знал кое-как латынь, классическую и обиходную, состоящую из латинизмов и русизмов, а из остальных языков, за их полной ненужностью, несколько слов: ленд-лиз, аборт и Гитлер капут, – то «эвдаймонию» отнесли к обыкновенному детскому крику и удовлетворенно улыбнулись.

Когда новорожденному обрабатывали пуповину и перевязывали ее толстой шелковой ниткой неопределенного цвета, младенец вторично довольно явственно произнес: «Эвдаймон-о-ония!», что означало «Блаже-е-енство!» Акушерка перевела: «Радуется!»

Со второго этажа роддома не было видно ни Акрополя, ни золоторунных овец под оливами, так не похожих на шашлык с маринованными оливками, ни бирюзы Ионического моря. Отец мальчика не стоял под окнами, горя медью доспехов, и не было в его руках громадного щита в металлической чешуе и толстого тяжелого копья из пелионского ясеня, а над головой не трепал ветер золотой конский хвост на высоком гребне светлого шлема в бляхах. И мать его не звали ни Ифигенией, ни Ио, ни Электрой, а с Олимпа, в краткие мгновения отдыха от войн и оргий, не свешивались в праздном любопытстве, как с балкона, вглядываясь в первые минуты жизни будущего героя, ни Зевс-громовержец, ни сребролукий Аполлон.

Роддом № 3 находился на Зырянской улице города Воложилина. Под окнами роддома, на высоком тополе, в клейкой пахучей листве, молча, как ворон, сидел во френче без погон

и в полевой фуражке чернявый молодой мужчина, с оторванными двумя пальцами на правой руке и обожженным лицом (он начал и закончил войну на гвардейском миномете «катюша», который поначалу называли «Раисой»). Роженицу, которая, раскинув белые руки, лежала в беспмятстве под капельницей и больше не думала о том, как дышать и как тужиться, и о которой все забыли, звали Машей. И была Маша для мужчины с обожженным лицом после «катюши» – второй и последней женщиной в его жизни, которую он по-настоящему любил.

Из рода же Зевесова самым значительным для этого семейства был начальник новоявленного отца майор запаса Копыто, живший на Второй Продольной и в это время, естественно, спавший. Был он, впрочем, как Зевс, весь в молниях, только американского производства, но громы метать любил, и это у него здорово получалось. Начальник дал Мурлову-отцу отгул на два дня из двадцати пяти, накопившихся за полгода мирной работы, которые он, разумеется, никогда не дал бы, не случись такого замечательного природного события у его подчиненного. В глубине души Копыто, как всякий бог, и себя считал косвенно причастным к происшедшему, на что, уверяю тебя, у него не было никаких оснований. Просто после войны роды – сами по себе – были событием эпохальным, совершенно с другим, противоположным знаком, чем все события на войне, с громадным знаком плюс, к ним были причастны все, даже те, кого навечно приписали к знаку минус, а уж рождение мальчика, будущего воина, будущего строителя, будущего отца, словом того, кого тогда так не хватало, воспринималось со слезами на глазах, из которых война, казалось, выжала, выжгла, высушила все до последней капли и оставила пустыню, в которой страшно хочется пить.

Мальчика назвали Дмитрием.

Астролог – не обязательно Нострадамус или Глоба – сказал бы: судьба сулит ему многое. Но, увы, астрологов мало, так мало, что их и на себя не хватает. Как говорят математики, исчезающе малая величина эpsilon, которой можно пренебречь. Поэтому в начале своего пути Мурлов-сын эту самую эpsilon не встретил, а значит, ничего не знал о благорасположении к нему небесных светил и планет; и судьбоносные линии, бугры и знаки на его ладонях остались без внимания. Говорили, он был вундеркинд. А где вы видели не вундеркиндов? В детстве мы, слава богу, все вундеркинды. В юности все поэты. Потом детство и юность, одно за другим, уходят от нас; за ними также друг за другом следуют чудо и поэзия. И остаемся мы.

\*\*\*

Скажи, математик, как решить уравнение из двух неизвестных: кто мы? Я вот думаю иногда: встретить я себя семнадцатилетнего, ведь не узнал бы! Не принял! Начни сейчас я жить в обратную сторону, к детству, – где та грань, за которой все другое? Когда идешь сюда – ее не замечаешь. Может, заметишь, когда пойдешь вспять.

– Раки пьются задом...

– Они пьются, а здесь – идти лицом вперед, но назад. Это другое. Впрочем, все это так, чушь собачья. Расстройство одно. Продолжу лучше рассказ... – Рассказчик зевнул, прилег поудобнее и забормотал, как дед, рассказывающий сказку. – Ребенок приходит в семью, как варвар в Рим, со своим языком и простым нравом, завоевывает ее без всяких усилий и, как варвар в Риме, растворяется в ней...

Под эти пространные рассуждения я сомлел и уснул, и, похоже, с Рассказчиком мы были в одном сне, так как проснулись одновременно, одинаково разбитые и вспотевшие.

– Приснится же! – пробормотал Рассказчик.

– Кошмары?

– Хуже. Очередь. Пойдем-ка посмотрим, как там. Еще не пустят – скажут, не стояли, или уже провели три переписи.

В очереди все было по-прежнему. Так, незначительные подвижки, как в скальных породах при небольших землетрясениях. У очереди была своя жизнь, своя судьба, свои духовные и биологические потребности и отправления. Казалось, мы ей вовсе не нужны, она пре-

красно обходилась без нас, ее породивших. Она спала, тяжело ворочалась, вздыхала и скрипела зубами, от нее шли густые миазмы. Она видела сны и видела кошмары. Она переваривала нас. Из нее торчали во все стороны людские тела, как изогнутые гвозди.

– Чай еще не носили? – спросил краснорожий мужик, глядя на нас одним глазом; другой глаз у него спал, как у Крошечки-Хаврошечки.

– Нет еще, – ответил Рассказчик. – Сначала принесут селедку.

– В гробу я ее видел! – повысил голос Хаврошечка, без особых усилий перейдя на мат и икоту, сопровождая их по-собачьи судорожным почесыванием шеи.

– Потихе, пожалуйста, – попросила молодая приятная женщина с ребенком на руках.

– Па-а-ати-ише! Цаца какая! – сказал мужик, перестав икать и чесаться, открыл через силу второй глаз, внимательно посмотрел на женщину и снова превратился в Крошечку-Хаврошечку.

Две седенькие, в аккуратненьких платьишках с вышитыми воротничками и аккуратными прическами старушки интеллигентно беседовали об античном мире, эллинах, амфорах, эросе, эпосе и прочем грекосе. Хаврошечка, слушая их одним ухом и озирая одним глазом, составил о бабках свое одностороннее мнение и, находясь в плену этого мнения, морщился, дергался, тяжело вздыхал, тужась понять ход старушечьей беседы. Когда бабки говорили про мифы и половые связи богов – там была понятна хотя бы суть, хотя эту суть можно было передать гораздо проще и доступными словами; но когда одна из них, Сара Абрамовна, сказала другой, Веронике Михайловне:

– Верунчик, ты вправе ссылаться на эту контаминацию древних космогоний и теогоний или мифологических компендиумов... – у краснорожего занял мозг от макушки до копчика. Компендиум его добил. Он вдруг окрасился в кумачовый цвет и заорал так, что ни одного слова его нельзя было понять без его же собственных комментариев.

Старушки от неожиданности вздрогнули, свалившись с Олимпа сразу в Аид, и испуганно воззрились на орущего грекофоба. Но тот так же неожиданно, как и начал, кончил орать и, не собираясь никак комментировать свое выступление, натянул кепку на глаза, прислонился к трубе и тут же уснул.

– Страсти какие! – косясь на него, сказала Вероника Михайловна.

– Абсолютно согласна с вами, – поддакнула Сара Абрамовна. – Именно такие страсти лежат в основе всех мифов. Правда, там еще присутствуют боги.

Страшно спеша, как механическая игрушка, мимо проковылял нелепый старичок с палочкой, изогнутая ручка которой лет тридцать назад знала хорошие дни, а сейчас была обмотана синей изоляцией. У старичка была многоугольная голова с редкими пучками желтых волос, круглые, по-детски наивные глаза, без ресниц и бровей, и щелка вместо рта. Заметно было, что он выбивается из последних сил, – по затрудненному хриплому дыханию, по дрожащим тонким ногам, по отчаянию в розовых слезящихся глазах.

– Господи! Куда он? – сказала приятная женщина с ребенком. – Его же никто не пропустит. А ведь он – это любой из нас через несколько десятков лет.

Однако старичок беспрепятственно миновал соседнюю группу людей, скорее всего, по причине сна твякяющего стустка. Но тут ему преградили путь.

– Куда прешь, дед? Остынь, – кучерявый толстяк уперся ему в грудь обеими руками, и тут как тут рядом с ним материализовался твякяющий стусток, в образе всевидящего глаза, всеслышающего уха, всемелющего языка. Образ этот был неряшливо одет, неряшливо причесан и ежеминутно готов к борьбе. Образ большой обобщающей силы. Образина.

– Пропустите меня, пожалуйста, вперед. Мне трудно стоять.

– Всем трудно, – обобщил толстяк.

– У меня через два часа прием у врача. Вот талончик, – старичок достал талончик. – Вот 12-й номер кабинета, Шушкевич – фамилия врача, время...

– Дед. Мы тут все больные. Ты видел где-нибудь сразу столько здоровых? Вот я, например, к личному психотерапевту. К Собакевичу! Га га га!

Дед не внимал этим доводам. Стоял и качался, как былинка в степи. И все протягивал талончик.

– Да оттащи ты его в сторону! – воскликнул неряшливый образ. – Чего разговаривать с ним! Потерпит!

– Вот пять рецептов, – не унимался старичок. – Вот направление на УЗИ, в лабораторию на анализы...

– Дед, анализы можешь прислать по почте.

– Вот мой паспорт. Это действительно все мои бумаги. Мне обязательно надо к врачу. Мне плохо.

– Всем плохо, – с веселой злостью сказал толстяк. Он вошел в раж.

– Нет, ты посмотри – ему плохо, а нам всем здесь хорошо! – воскликнул неряшливый образ.

– Вот, – дрожащим голосом сказал старичок, – вот, пожалуйста. Я им никогда не пользовался, ни в очередях, ни в столе заказов – мне было стыдно. Но сейчас, поверьте, я не могу. Вот мое удостоверение, – старичок суетливо доставал из нагрудного карманчика зелененькую картонку участника войны, она цеплялась краями и никак не вынималась. Старик со слезами на глазах рвал ее. Наконец вырвал и, развернув, показал всем. – Вот. Вот.

– Еще-о чего-о! – взвизгнул образ. – Захотел чего! Все стоят – и ты стой! Когда только они передохнут! Развелось, как собак! Проходу не дают!

Старичок встал на колени, опираясь на палочку, которая ходуном ходила в его руках. Толстяк заколебался, но присутствие образа мешало ему пропустить старичка.

– Господи! Да что же это! – прошептала приятная женщина.

Я отодвинул Рассказчика – он мешал мне пройти. Толстяк побледнел и отступил к стене. Я помог старичку встать с колен и громко сказал:

– Идите, вас не тронут.

Старичок пошел. Оглянулся. Я помню эти глаза. Они были у моей любимой собаки за день до гибели от энтерита.

– Щедрый какой за чужой счет! – услышал я за спиной резкий женский голос. У меня потемнело в глазах, я развернулся, но в последний миг удержался и не ударил бабу по голове. Почему-то вспомнил Есенина и меньших наших братьев. Отвращение и брезгливость передернули меня.

– Убивают! – заскулил неряшливый образ.

– Сука, – сказал пожилой мужчина с трясущейся головой и плюнул.

«Эвдаймолия», – вспомнил я.

## Глава 7. Ец-тоц-перетоц, или Якорь ей в глотку. Появление еще одного героя

Скоро сказка сказывается: мы оказались в туннеле с низкими потолками, жиденьким светом от запыленных слабых лампочек и прелой духотой, обложившей тело, как влажная вата. Да, так, наверное, себя чувствуют всю жизнь трубы на ТЭЦ. В больших алюминиевых ящиках привезли теплую селедку. Каждому выдавали по хвосту и головке.

– А середка где? – заорал Хаврошечка. – Сволочи! Куда середку дели?

– Какую середку? – удивилась полная блондинка в белом халате, раздававшая куски селедки крепкого посола. – Вы что, гражданин, не видите: каждому выдаем по тушке. А для удобства тушка разрезана пополам. Вот, – она состыковала хвост и голову и осталась довольна полученной фигурой, – пожалуйста.

– Я щас для удобства пользования разрежу тебя пополам, – сказал Хаврошечка, кровожадно переводя взгляд с фигуры рыбы, больше похожей на морского окуня, чем на селедку, на фигуру блондинки, похожую на рождественскую индейку, – и для удобства воткну твою башку в твою задницу!

Блондинка поспешила убраться подобру-поздорову, возмущаясь невоспитанностью «некоторых» и тщетно застегивая не сходящуюся на талии пуговицу. Подсобники вслед за ней укатали ящик с остатками рыбьих фигур.

Хаврошечка с видом победителя чесал себе грудь с татуировкой, изображавшей женский бюст синего цвета под именем «Роза». Татуировка придавала его груди дополнительный объем.

– Пивка бы, – сказал Рассказчик. – Пошли поищем.

Мы с трудом протолкались к узкому переходу, долго шли по нему, пока не уткнулись в массивную кованую решетку с узорами. Пнули ее пару раз и пошли по другому переходу, пока не уткнулись в тупик с тремя железными дверями, за которыми что-то монотонно гудело.

– Сплошные тупики и тупицы. Давай-ка попробуем «правило правой руки», – предложил Рассказчик. – Старое правило всех кладоискателей и исследователей лабиринтов. Правой рукой не отрывайся от стенки и выход обязательно рано или поздно найдешь.

– Если он есть.

«Правая рука» завела нас в темный туннель с редкими пятачками света. Духота сгушалась и насыщалась гнилью. Жажда наша, понятно, только усиливалась. Потолок стал давить, туннель с легким уклоном вниз уходил в черную дыру. «Как в пирамиде, – подумал я. – Так же давит, пустота и жара». Рассказчик подобрал деревянную рейку и тюкал ею перед собой, чтобы ненароком не загудеть в какую-нибудь яму. За очередным поворотом забрезжил свет. Земляной, а где и с кирпичной кладкой туннель был засыпан землей, завален щебнем и битым кирпичом, забаррикадирован кусками рельсов, искореженными вагонетками, – казалось, он был заброшен давным-давно. Но возле стены стоял лом, валялись две совковые лопаты, и было заметно, что здесь недавно копали. Резко похолодало, и мы через пять минут залазгали зубами. Озираясь по сторонам, мы осторожно пробирались через завалы, перешли по шаткой доске через яму. Несколько камешков упали в воду. Из стены вышла мужская фигура и стала молча смотреть, как мы приближаемся к ней. Она была при костюме и в галстукке. Поздоровалась с нами.

– Выход ищите? Давайте покажу. А то шею сломаете. Или сломают, ха-ха...

Земляной человек (земляк) был мрачный, но словоохотливый, и от этого сочетания было как-то не по себе. Он уверенно шел среди куч хлама, не замолкая ни на минуту.

– Вон там, под самой крышей, раньше было окно, сейчас его заложили, в гражданскую в него влетел снаряд и прямо вот сюда.

– Что-то следов не видать.

– Хе, это такие кирпичи, такой раствор, такая кладка. Им не то что снаряд, им бомба нипочем. Тут многие пытались разбить эти стены. Черта с два. А вот ребятки мои, дети подземелья, хе-хе, эти кирпичики запросто разбирают. Я тут начальник участка. Ремонт и реставрация. Еще два миллиона надо освоить. Вон там, – он ткнул пальцем под ноги, – еще один туннель идет. Он, правда, засыпан. Там контрразведки любили размещаться (и белых, и красных) – все друг друга пытали, не могли допытаться, куда эшелон с золотом пропал. Здесь и так-то тихо, но бывают минуты, когда особенная стоит тишина, и тогда слышны крики пытаемых. Приходите как-нибудь ближе к ночи, послушаете. А золотой эшелон был, точно знаю. В город вошел, из города не вышел. Ни вагонов, ни ящичков, ни конвоя. Никого и ничего. Интересно, правда? До сих пор ищут. Думают, здесь где-то спрятано. Вон сколько раскопок и долбежек...

Меня вдруг осенило, а не за этим ли золотишком заслал меня сюда Горенштейн?

– Вы графа Горенштейна случайно не знаете? – спросил я у словоохотливого начальника участка.

Тот внимательно посмотрел на меня и уклончиво ответил:

– Да кто ж его не знает?.. А вот тут взрывали, вместе с собой. Зимой сюда даже мэра занесло, с его ребятами. Ух, пройдохи! В касках, с фонарями! Посмотрели, полазили, пощупали, посоветались и ушли. Тут же рученьками надо работать, а не головой. А без чертежей – чего тут делать? Вот тут осторожней. Труп. Никак не уберут. Не поделили чего-то. Каждый день кто-нибудь шарашится. На авось. У меня-то чертежи есть, дореволюционные еще. Да и по ним ни черта не найдешь. Все перемешано. Недавно дедок один, умненький такой, с бородачкой, кейсиком, в шляпочке с перышком, очечках, все допытывался, не знаю ли я как строитель, сохранились или нет чертежики подземных коммуникаций, и где они могут быть. Как же, чертежики ему! Папочка его до революции, видите ли, был тут хозяином, и теперь благодарная сыновья память привела его на развалины отчего дома. В слабой надежде найти хоть что-нибудь на память. Материальное. Хотя бы кирпич. И чудной такой акцент у старикашки. Не будете ли вы столь великодушны, говорит, оказать мне неоценимую услугу и вместе с тем оказать честь... Та-та-та, та-та-та... Короче, чертежики нужны... Нет, говорю, увы, какие чертежики, когда от дома-то ни черта не осталось. Ушел разочарованный. Но на прощание попросил посодействовать ему в поисках, а уж он, будьте любезны, в долгу не останется. Я даже расшаркался перед ним... А вот и выход. Идите прямо вверх, потом по коридору и направо. Там смотрите, после третьей ступеньки сразу шестая идет, двух нет, – он помахал нам вслед рукой и долго смотрел, как мы поднимались по пожарной лестнице.

И снова обложила нас ватная духота. Пока искали свою очередь, опять захотели пить. Чего не попросили воды у золотоискателя – не чертежики, в конце концов, дал бы напиться? А то и банку с водой подарил бы...

Вот и «наши». Нас окружили со всех сторон, но увидев, что мы без воды, очередь дернулась, как железнодорожный состав, и медленно поползла по нескончаемым коридорам. И каждый был поводырем каждого, и каждый думал только о себе.

Стало совершенно невыносимо, как в бане. Из толстой трубы впереди сифонил пар. Обернув тряпкой плафон, Боб подставил его под струю пара. В банку закапала горячая вода. Его окружили со всех сторон. Некоторые улыбались, как пьяные. В глазах жаждущих было ожидание и руки невольно тянулись к банке.

– Внимание! – крикнул я. – Воды хватит всем! Первыми напоим детей. Потом тех, кто в обмороке. Вот вы, вы и ты – поддерживайте порядок. Всем достанется. Дело одного часа. Пока вода в этой банке будет остывать, мы наберем другую. Хватит всем!

Время и капли спорили друг с другом – кто медленнее упадет. Мне кажется, время в таких случаях заключает пари – с кем и с чем угодно, – лишь бы только испытать терпение человека. Но время прошло и капли наполнили банку. Ее передали женщине с ребенком, а

под плафон подставили новую. Все, как по команде, поглядели на банку и облизнули губы. У женщины дрожали руки.

– Не спешите, – сказал я женщине. – Пусть немного остынет, – я взял ее руки в свои и не почувствовал их тепла, они были ледяные!

Нашли несколько металлических пластинок и устроили целую батарею конденсаторов и водосборников.

– Промышленная революция, господа технократы, – сказал Рассказчик. – А вот и наш Эдисон! – Рассказчик поднял руку Боба.

– Мне ли привыкать, – сказал Боб. – У меня наверху целый завод по воде был: «Целебная вода подземных кладовых Воложилинщины. «Нелепица-плюс». Хлоридно-гидрокарбонатная натриевая лечебно-столовая минеральная вода». Рекламу не встречали?

– О, так она у тебя в подземных кладовых, – сказал Рассказчик и ткнул пальцем себе под ноги. – Значит, где-то тут. Давай раскупоривай свои кладовые!

Женщина дула на воду и успокаивала ребенка. Мальчик тянул ручонки к банке и нетерпеливо тряс ими. Ему было года два, не больше. Вдруг Хаврошечка схватил банку и, угнувшись, как регбист, побежал прочь. Я догнал его через пару минут. Он крупными глотками пил воду и был весь какой-то жалкий. Я выхватил у него банку и выплеснул оставшуюся воду ему в лицо. Хаврошечка вытерся кепкой...

Я вернулся к своим. Там деловито продолжали набирать воду. Напившись и набрав воды про запас, мы тронулись в путь. Кто гнал нас? Куда? Что такое шестой зал? Где он? Зачем он? Когда мы проходили мимо того места, где я догнал Хаврошечку, мы увидели его. Он сидел на полу и плакал...

Ночью по нашим пятам пришла вода. Сначала это был грязный ручеек, но потом он набух, стал чище и горячее. Вскоре он загнал нас на площадку, благо стена в этом месте туннеля была с уступом, как русские печи в деревенских домах. Мы прижались к отсыревшей стене. Одежда липла к телу. Мой железный панцирь был попросту горяч. Воздух помутнел от испарений, туннель превратился в канал, по которому бежал кипяток. Люди были вялые и бледные – от сердечной слабости, от духоты и страха.

Вынырнул откуда-то деревянный ящик с двумя пьяными мужиками в спецовках. На оклик, кто они такие, мужики скороговоркой проорали:

– Слесаря мы! Ец-тоц-перетоц! Аварийная группа!

– А куда вы?

– В устье! Ец-тоц-перетоц! Плотину возводить!

Только они исчезли, как из-за поворота вынесло плот. На нем плясал и дико орал огромный мужик. Казалось, руки его машут под самым потолком. Он соскочил с плота и плюхнулся рядом со мной на свободное место. Ростом и бородой он походил на Фиделя Кастро, только голос был гуще раз в пять:

– Сволочи! Ноги обварил, как рак.

– Да кто сволочи-то? – спросила женщина.

– Ноги! Ноги – сволочи! Обварил их, как рак!

– Вы откуда?

– От верблюда! Возле зоопарка, как раз где верблюд, прорвало теплотрассу. И приспичило прорвать ее в шесть часов вечера. В пятницу! («Старушка хоть успела уйти», – подумал я). Три часа не могли аварийку вызвать! Все уже давно эвакуировались за город на дачи!

– У тебя там жратвы какой случаем нет? – пристал Боб к новенькому. – Вареных яиц, например?

– Борода, давайте я вам ноги смажу, а то волдыри пойдут, – женщина достала из сумочки небольшой флакончик, помогла Бороде снять огромные туфли, осторожно стянула с него носки

и, стараясь лишней раз не прикасаться к ошпаренным ногам, бережно закатала ему штанины до колен. – Больно?

– Терпимо. Бывает больней. Когда ноги отнимут.

Женщина смазала покрасневшие ноги геркулеса.

– Ничего, могло быть хуже, вам повезло.

– Спасибо, Сестра.

Поток пронес тело.

– Какой кошмар! – Сестра закрыла глаза и привалилась ко мне. Я поддержал ее. Ребенок молча сидел между нами.

Через час, может два, поток стал спадать, пока не прекратился совсем. Хорошо, нигде не коротнуло, в тусклом свете матовых плафонов поблескивал нанесенный ил, из которого торчали палки, сумочки, всякие разности. Мы спустились с уступа в чавкающую горячую жижу.

– А-а! Маце-эста-а, якорь ей в глотку! – сказал Борода. – Погреемся, а то кости застыли.

– Один готов, – сказал Рассказчик. – Пора искать сушу. Выпускайте голубя. Голубя нет? Значит, идем сами, голуби.

И впятером – Борода, Сестра с ребенком, Рассказчик и я – мы пошли искать сушу, еду и белый свет. Знакомая Боба, та, что с чувственным ртом, подвернула ногу, и Боб остался с ней, впрочем, без видимой охоты.

– Возвращайтесь скорей, – сказал Боб. – Только со жратвой.

– Ты, Боб, лучше ухаживай за ней, – указал Рассказчик на чувственный рот дамы. – Замечено, что в период ухаживания самцы потребляют меньше пищи и резко теряют в весе.

## Глава 8. Слово берет Рассказчик. На земле Древней Греции

Сушу мы нашли довольно скоро, в разграбленной кем-то кладовке. Решили отдохнуть, а потом уже искать белый свет и пропитание. Сестра с ребенком сразу уснули. Уснул и Борода. Нам с Рассказчиком не спалось.

– Ну что, Шахерезада, заводи свои дозволенные речи, – сказал я.

– Я ждал этого соизволения, – промолвил Рассказчик. – Слушай же. Кстати, тебе не кажется, что мы идем по следам крайне прожорливого и всеядного зверя? Все разграблено, сожрано, уничтожено... В прошлый раз, как ты помнишь, мы кончили на том, что ребенок приходит в семью, как варвар в Рим, и, как варвар в Риме, растворяется в ней. Но это потом. А характер человека формируется в первые шесть месяцев. Период внутриутробного развития я, по понятным причинам, не рассматриваю, хотя он-то и есть дверца из вечности. Шесть месяцев детеныш карабкается от звериных инстинктов к человеческому разуму. А может, то-то безвозвратно теряет? – вдруг задумался Рассказчик. – И этот путь он проделывает в одиночку – ни его никто не понимает, ни он никого. Взрослый человек для него лишь ориентир, не более того. Своего рода солнце в пустыне, данное ему от века. А теперь слушай внимательно. Чем ближе он подбирается к солнцу, тем милосерднее должно быть оно: не обжигать, не покрываться тучами, не исчезать. И если это так – характер у человека будет ровным и милосердным. Да-да, именно так. Слушай еще внимательней. До шести месяцев этот карабкающийся звереныш понимает больше, чем вся наша бестолковая орава в этом вот нашем вонючем мире, но только не понимает его никто и всяк переделывает на свой лад. Оттого сейчас у большинства детей родители вдруг стали бездетными...

\*\*\*

Как-то в июньское воскресенье Мурловы набрали еды, питья и с утра поехали на пляж... Тут необходимо маленькое отступление. Димка в садике как-то сказал воспитательнице: «Почему это вы требуете от меня, чтобы я руки мыл перед едой?» Воспитательница опешила: «Как почему?» – «Да, почему? Если даже апостолы не омывали рук перед трапезой?» Ничего не ответила воспитательница, только Димку с тех пор в садике стали звать «апостолом».

Так вот, как-то в июньское воскресенье Мурловы поехали на пляж. Народу было много, и они ушли подальше от суеты, туда, где к воде подступали густые деревья. Возле воды стоял длинный шест с веревочной петлей наверху. Обычно пацаны привязывали к петле за шнуровку мяч и били по нему кулаками, стараясь пробить оборону друг друга. Мяч дергался, метался, кружился вокруг шеста, как живой. Сейчас ребята торчали в воде. Припекало.

Димка, остановившись возле шеста, неожиданно сказал:

– Это была виселица в Древней Греции.

– Разве здесь была Древняя Греция? – удивился отец.

– Да, тут везде была Древняя Греция. Везде, – заявил сын, с вызовом глядя на родителей.

– Может, правда, была, – сказала мать, вопросительно глядя на отца.

– Ты сомневаешься? – негодуя спросил сын. – Вот тут приставали корабли. А вон там на квадратных кострах сжигали мертвых. А здесь, где мы стоим, лежали убитые овцы, быки, собаки.

– Зачем? – обмирая, спросила мать.

Сын не ответил, «зачем». Он оглядывал это ничем не примечательное место так, словно это была Троя, Фермопилы или еще какие развалины из курса древней истории.

«Вундеркинд или...» – шептались родители ночью. Все-таки восемь лет всего, дитя дитем, а что выкинул: часа в два или в три, когда солнце жгло немилосердно, вдруг отбросил небрежно в сторону кораблик из щепки, притворно зевнул и молвил:

– Нет, родители, скучно мне с вами жариться здесь, как барану, тощая будет бессмертным богам из меня гекатомба. Подвигов много, еще не свершенных, свершить предстоит мне. Я, пожалуй, поеду домой на трамвае – то воля Зевеса.

В трамвае он расплющил нос о грязное стекло, за которым проползали, дергаясь и исчеза за поворотами, нескончаемые улочки Воложилина, с серыми деревянными заборами и тучными абрикосами, вишнями, грушами, яблонями и сливами. Скоро пойдут вишни, потом абрикосы... Лето в разгаре. Пора отпусков, каникул, витаминов и безделья. Такая благодать! Димка пел «По долинам и по взгорьям». Отец с матерью молча глядели на него, как на секретаря обкома, утирали пот с лица и улыбались, как два идиота.

А вечером Димка захныкал и у него поднялась температура. Он перегрелся на солнце. Ночью он часто просыпался и кричал: «Мамочка! Где ты? Куда тебя дели?» Мария прижимала его к себе и гладила по голове, а в глазах ее стояли слезы. «Прямо богиня-мадонна с младенцем», – подумал Мурлов старший и удивился этой своей мысли. Чем больше он общался с женой и сыном, тем больше его удивляли посещавшие его мысли. Они, эти мысли, словно приезжали к нему откуда-то издалека и заходили радостные и слегка возбужденные, как к старому другу.

Когда Димка поправился, его увезли к деду с бабкой – Василию Федоровичу и Акулине Ивановне Косовым – в Ростовскую область, на тихий хутор, утопающий в зеленых садах, весь залитый синью неба и золотом солнца. Хутор пересекала прозрачная до дна река, от одного берега которой к горизонту уходили поля пшеницы и арбузные бахчи, а от другого круто поднимался каменистый Шпиль, поросший бессмертниками и шиповником, через который была самая короткая дорога к ближайшей станции.

Димку потом возили на хутор каждое лето. Надо ли говорить, что от осени до весны Димка грезил одним: летними каникулами. Ему казалось, что на хуторе он меняет кожу, а в детской душе его были такой мир и покой, что впору было позавидовать зрелым мудрецам. И если бы видели его в эти дни отец с матерью, ничего странного в нем они не заметили бы. Никакой такой гекатомбы.

\*\*\*

– Не спишь? Смотри, могу рассказать про что-нибудь другое, – Рассказчик выжидающе смотрел на меня.

– Сказал а – не будь б...

– Что ж, извольте. Несколько эпизодов из детства. С подзаголовками, если позволите. Это так же, как есть гузно, а к нему свои подгузники, так и к заголовку есть свои подзаголовки.

## Воспоминание 1. Гришка

В первый же день, подойдя к реке, Димка увидел рыжего мальчишку, лихо тащившего на веревке здоровенную козу. Коза упиралась и не хотела заходить в воду. Мальчишка, заметив Димку, наклонился и стал что-то собирать в ладонь. Когда Димка с ним поравнялся, рыжий шмыгнул носом и задиристо спросил:

– Косовский?

– Чего? – не понял Димка.

– Звать как?

– Димка.

– А меня – Гришка.

– А что ты собираешь?

– Да так. Конфеты, драже. Просыпал. Зойка дернула. Хочешь? – он протянул ему на ладони несколько коричневатых шариков, напоминающих по виду фасоль. – Бери.

Димка взял на пробу одну и раскусил. Конфета была горькая, противного вкуса.

– А ты что это мне дал? – спросил Димка и стал отплевываться. – Конфета, говоришь?

– Шоколадная! – рассмеялся Гришка. – Зойка готовит.

– Ах, ты! – закричал Димка, и оба мальчишки, сцепившись, покатались под ноги козе, мутузя друг друга. Зойка спокойно глядела на них, трясла бородой и сосредоточенно жевала сорванную травинку. Ей нравилось, что ее никуда не тащили.

Битва вскоре закончилась, и оба, тяжело дыша, пригрозили друг другу: «Теперь ты будешь знать!» – и разошлись в разные стороны – Гришка, шмыгая носом, потащил козу через речку, а Димка пошел купаться.

\*\*\*

– Это эпизод первый, – сказал Рассказчик. – Между первым и вторым Димка с Гришкой стали друзьями.

## Воспоминание 2. Настенка

– Ну, сегодня поймаю этого паразита Гришку и выдеру, как козу, – думала Настенка, выбирая в зарослях крапивы кусты побольше. – Должен сегодня залезть, обязательно должен.

Два раза она обожглась, и от этого злость в ней вскипела пуще прежнего, даже правое веко задергалось. «Этот паразит Гришка» – нахальный, вечно сопливый пацаненок, с выпученными, как у рака, глазами, уже который год не дает покоя Настенке да и всем хуторским бабам: то в сад залезет, то на огород заскочит, а в последнее время до того обнаглел, что забрался даже в погреб к Дуське, умял там полбанки сметаны и хоть бы подавился. А вдобавок спер три жирных рыбка. Дуська-то подумала, что это кошка нашкодила, и отлупила бедную зазря. Кошка даже по-человечьи заорала: «Не я-а-а!» Потом уже досужая молва приписала, что будто бы Дуська выскочила из погреба, злая-презлая, красная-прекрасная, потная-препотная, а на завалинке кошка ее рыжая-бесстыжая флегматичная Мурка сидит, щурится-жмурится на солнце и дразнится-умывается. Дуська – руки в бока, и в голос: «Матерь божья! Сметану поела! Царица небесная! Облизывается!» – и, скинув тапок, тапком бедную кошку, тапком, по спине, по спине. Долго хуторские бабы над ней потом подтрунивали: «Ну, как там, Дусь, матерь божья – сметану поела? Царица небесная – облизывается? Тапком ее, тапком! А царица ей – не я-а-а!» Ребятишки же соседские видели, как Гришка вылезал из погреба – в соплях и сметане – и донесли об этом Дуське. Потерпевшая, опять помянув матерь божью, но уже в другом контексте, помчалась к бабке мальчишки, но та, глухая, как пень, ничего не поняла из справедливого Дуськиного негодования, а только кивала, как утка, котелком и, прощаясь, прошамкала: «Да, бог ее знает. Поди на грех, может, и не будет боле ее, потравы... Ты, Дусь, кобеля на цепь посади, да не корми его пару дней, а то и верно – худоба колхозная голодная ноне. Так и норовит залезть во двор. А кобель – он и в Африке кобель, а? Ха-ха!» У Дуськи в глазах позеленело, она стукнулась крупным лбом о притолоку низенькой землянки – чуть не развалив ее – и, чертыхаясь, выскочила от карги вон. «Африка», а!

Короче, Гришкины проделки бабам надоели. Они уже стали приписывать ему чуть ли не все, что случилось на хуторе худого еще с довоенной поры. При этом у них чесались не только языки, но и руки. Создалась классическая революционная ситуация.

Наконец Настенка набрала достаточное количество крапивы и любовно оглядела ее. «Славный букетик», – подумала она, для тренировки помахав им, словно шашкой. Ух, попади ей сейчас под руку Гришка – несдобровать ему, несдобровать! На прошлой неделе «паразит» смял у нее грядку с крупной морковью, всю изрыл ее, как крот, и истоптал ногами. На этом терпение Настенкино лопнуло, и она решила отомстить – и за себя, и за Дуську, и за весь хутор. «Ляд с ним, иродом проклятым, пропадет день, да я своего добыю! Исполню миссию», – решила она.

Настенка спустилась к реке, умыла жаркое свое лицо теплой водой, погляделась на зеленое свое отражение, поправила завиток над ухом, подоткнув его под косынку, и схоронилась в буйных кустах терновника, да еще прикрылась лопухом, похожим на слоновье ухо. Сообразив, что белая косынка будет заметна с тропинки, ведущей в огород, она стянула ее с головы, перемотала ею стебли крапивы, нагнула голову и настроилась терпеливо ждать.

А тут, как на зло, сосед Мефодий со своим дружкой, пьянчугой Кондратием Зыкиным, откуда-то взялись и вконец настроение изгадили. Кондратий заметил ее и рыгочет, тычет культей:

– Гля! Настенка в кустах сидит! Га-га-га! Писает!

– Катитесь вы отседова! – огрызнулась Настенка и, встав, оправила платье и нервно прошлась туда-сюда, пока гогочущие мужики не скрылись под вербами по краю Мефодиева огорода.

Настенка в расстройстве помянула недобрым словом и Мефодия с Кондратием, и Гришку сопливого, и всю его родословную, и чуть-чуть успокоившись, снова забралась в помятые, как ее чувства, кусты и стиснула зубы, чтобы не ругаться вслух. Астропрогноз сбылся. Черта только помяни – Настенка, перемогая себя, заерзала, услышав шлепанье босых ног и паскудное сопливое шмыганье. На тропинке появились двое. Первый озирался по сторонам и часто хлюпал своим конопатым, будто мухами засиженным, носом. Это был Гришка. Второй Настенке был незнаком. Он шел автономно, не глядя по сторонам, как к себе домой, и даже что-то насвистывал. «Да их тут уже целая банда!» – вознегодовала Настенка. Она с воплями ринулась из кустов, но запуталась в них, зацепилась за что-то, растянулась и обожгла себе правую щеку и шею крапивой. «А-а-а-а!» – рывкнуло в прибрежной зоне, и все на мгновение замерло возле реки. Кондратий, который в это время на Мефодиевом огороде «потреблял, в свою очередь, оную из горла», поперхнулся и закашлялся, и замотал рукой – луку, мол, луку дай скорей, заесть.

Димка ничего не успел сообразить, как Гришка уже был за поворотом. Димка увидел поднимающуюся с карачек разъяренную женщину, вырывающую из бурьяна ноги. Ему еще не привелось в своей жизни видеть разъяренных женщин – это воистину страшное зрелище, и не только для ребенка. Но у него тут же сработал чисто мужской инстинкт, и он, не раздумывая, чесанул вслед за приятелем. Настенка неслась по пятам, и мальчишки холодели от ее страшного крика: «Догоню – убью! Догоню – убью!» Димка бегал быстрее Гришки, но сейчас ни на шаг не приближался к нему и даже стал позорно отставать. И главное, свернуть было некуда – по обе стороны сплошь огороды да непролазные заросли тальника.

Кондратий с Мефодием, выйдя на тропинку, молча смотрели на зеленый коридор, где только что было столько шуму, и долго жевали перышки лука. Казалось, этим коридором от них окончательно ушла война...

\*\*\*

Василий Федорович и Акулина Ивановна сидели на завалинке, молчали, любовались знакомым до мелочей незатейливым видом: рекой, песчаной косой, вербами и еще чем-то неуловимым, чему и слов-то нет. Они молчали, как молчит всякий, на кого мягко, с любовью опускается теплый летний вечер, опускается уже шесть десятков лет.

Акулина Ивановна думала о чем-то. О чем? Вряд ли она сама знала – о чем. Думал и Василий Федорович. Подумает и замурлычет тихонько. Грустно, но светло как-то, по вечернему грустно, по вечернему светло: «Ты воспой, ты воспой, в саду соловейка. Ты воспой, ты воспой, в саду, голосистый... Я бы рад, я бы рад тебе воспевати. Я бы рад, я бы рад тебе воспевати...» Попоев вот так и снова думает. Хо-ро-шо...

Жара спала, и речка пахла камышом и илом. Красивая речка Косма! Как гибкий тонкий зверек, она упруго потягивается, готовая в любой момент стремительно броситься в сторону, а через минуту свернуться кольцом и забыться в кратком отдыхе. Так бы и глядел на нее издали, не нарушая ее блаженного одиночества. И чтоб еще к тебе не лез никто. Хорошо! Глядишь на нее, и кажется, что уже видишь всю до дна, и все ее тайны, как на ладони...

По дороге вдоль реки пылили двое мальчишек, а за ними по пятам дула орущая баба.

– Никак Димка наш, – сказала не по годам глазастая Акулина Ивановна. – И Гришка Пухов. Вот нехристи, опять залезли к Настенке.

Дед, услышав о Настенке, приосанился и отвлекся от дум:

– Похоже, она. Эк газует!

Курень Косовых, вместе с землянкой, погребом, сараем и прочими застройками, и двор почти на двадцать соток – размещались на пригорке, опоясанном старой расплывшейся дорогой, на которую спустя минуту и вылетела удалая тройка.

– Куда?! – напрягая голос, крикнула Акулина Ивановна. – Куда вас черти несут?

Димку и впрямь будто черти несли: он летел с разинутыми глазами и ничего не видел, кроме пыльной дороги да Гришкиных пяток – и те уже были где-то впереди. Услышав бабкин

окрик, он смекнул, что с правого бока его дом, а значит и защита, и мигом очутился у своего двора и юркнул в калитку. Акулина Ивановна вскочила с завалинки и бросилась за ним:

– Я те!.. Стой! Стой, я кому сказала!

– Чего, Настен, в Мельбурн готовишься? Передохни малость от тренировки.

Василий Федорович разгладил усы и выпрямился. Настенка приостановилась, перевела дух и звонким сильным голосом прокричала:

– Эти чертенята мне все грядки истоптали! Второй-то ваш? Он тут не заводила. Это все сопля рыжая! У-у! Он их всех хороводит. Ну, проклятуший! – взяла она снова с места в карьер. – Догоню – убью!

Василий Федорович смотрел ей вслед, и ему стало тепло, как от наркомовской, и он подумал шаловливо: «За мной бы кто так погонялся...» Не иначе, как эти мысли внушила ему полная луна, выкатившая засветло прямо напротив их дома.

Гришка заскочил на свой двор. Дома и впрямь стены помогают. Вслед за ним туда ворвалась Настенка. Слышно было, как загремели ведра и с громким кудахтаньем разлетелись куры. Залаял линеvский Бирон, а за ним и косовские собаки. Тем временем Акулина Ивановна хитростью поймала внука и за ухо притянула его к завалинке.

– Полюбуйся, дед, на грабителя! Ну, что там с Гришкой натворили? Рассказывай! Чтоб больше с ним я тебя не видела! Увижу – выдеру! А пожалится кто – моментом к родителям отправлю! Срам-то какой! Мне такого сраму не хватало! За всю жизнь ничего и близкого не было! Вот Настенка обратно пойдет – объясняйся с ней сам. А то герой выискался. Не разевай рот на чужой огород!

– Ничего я не разевал. Сдался мне ваш огород! Меня Гришка вел гнездо лисье показать.

– Ага, «гнездо». Рассказывай! То-то Настенка, как оглашенная, вон сколько перла за вами!

– Ладно, бабка, понял малый все. Чего наседать зря?

– А ты не встречай, – отмахнулась Акулина Ивановна, однако отпустила внука. Димка, весь в противоречивых чувствах, побрел во двор. «Еще раз за ухо схватит – уеду! – решил он. – А Гришка – гад! Завел и первый деру дал».

\*\*\*

Настенка неторопливо шла обратно и обмахивалась веточкой. Обшарила она весь двор, но «паразит» как сквозь землю провалился: ни в саду, ни в хате, ни в землянке – нигде не было. Хотела попенять Гришкиной бабке, та упоенно рылась в куче угля, да вовремя одумалась и не связалась с глухой тетерей, от которой была бы только лишняя накрутка нервов. Крепко сплунув, она пророкотала: «Чтоб вы тут сгорели все!» – выехала со двора, громко хрястнув калиткой.

А вечер был славный. «И чего это я, дура?...» – подумала Настенка. От бега в ней заиграло здоровье и стало радостно. Красное солнце спряталось за холмом, но было еще светло. Даже странно как-то, обычно темнело очень быстро. Луна вон какая. Пропала куда-то и Настенкина злость, и вечерний зыбкий свет стал наполнять ее своей истомой. И воздух был необыкновенно вкусный.

– Догнала? – спросил, ухмыляясь, Василий Федорович.

– Не-а, – мотнула головой Настенка, остановившись у завалинки.

– Что же так? – любопытствовал Василий Федорович.

Акулина Ивановна, уловив оживание мужа при виде Настенки, отвернулась в сторону и вроде бы даже запела себе под нос, потом встала, одернула юбку и с подчеркнутым достоинством супруги направилась во двор, но возле калитки остановилась, повисла на ней и стала разглядывать Настенку. В груди она чувствовала тяжесть и думала о том, что это нехорошо.

– Да из-за мужиков разве догонишь? – игриво сказала Настенка. – На мужика раз взглянешь – на версту отстанешь.

– Каких мужиков?

– А которые на завалинках сидят. Задержалась вот давеча возле вас и не догнала, – Настенка улыбалась им обоим.

– Что ж, мужикам и посидеть нельзя? – подмигнул Акулине Ивановне Василий Федорович.

– Да они-то, поди, уже ни на что больше и не сгодятся! – ухмыльнулась Настенка и, круто повернувшись, пошла прочь, напевая.

Василий Федорович посмотрел на жену, потом вслед Настенке, почти пропавшей в сумерках, снова на свою старуху и, ничего не сказав, пошел к летнице.

Акулина Ивановна осталась у калитки, задумалась и, пожалуй, впервые за последние двадцать лет вспомнила свою молодость, но не знала, как же ее пригнать к сегодняшнему дню.

## Глава 9. Воспоминания, воспоминания...

### Воспоминание 3. Кто сам молодец – у того и петух храбрец

Вдоль каменной кладки, в тени акаций, не спасавших, однако, от полуденного зноя, маялись куры. Обжоры и побирушки, они, растопырив крылья и раскрыв клювы, забыли про свои ненасытные желудки. Круглые глаза их осоловели от жары.

Пестрый, голенастый, уже отяжелевший красавец-петух гордо ходил по двору Косовых и выискивал съестное. Найдя какую-нибудь крошку, он брал ее в клюв, вновь клал на землю, наклонял голову набок, словно показывая, куда положил, и начинал созывать несущек. Когда же они подходили, петух сам склевывал эту крошку и удалялся от них на новые поиски. Обиженным хохлаткам оставалось лишь созерцать лохматые петины ляжки и его роскошный рыцарский хвост с красиво изогнутыми перьями. «Ко-король, ко-король», – делились они впечатлениями.

Обманув кур в очередной раз, петух распустил крылья и стал кружить вокруг белой курицы. Покружил-покружил и вдруг бросился на нее.

Димка, испугавшись, ворвался на веранду, где бабушка сидела со своими подружками, и закричал:

– Бабушка! Там петух заклюет курицу!

Бабки переглянулись, с трудом скрывая улыбки, и одна из них, которая потолще, не выдержала и рассмеялась:

– Ничего с ней не случится!

– Забьет он ее, скорее, бабушка, пошли! – торопил мальчик, с недоумением поглядывая на такую непонятливую толстую бабку.

– Ага, забьет! – согласилась толстая и, нагнувшись к другой бабке, что-то сказала ей на ухо. Та по-девичьи стыдливо прыснула и прикрылась фартуком.

Акулина Ивановна встала из-за стола и вышла за внуком.

– Где? – спросила она.

Петух спокойно ходил по двору, как ни в чем не бывало, все куры были живы и здоровы, а пострадавшая белая несущка усердно долбила хлебную корку. Димка почувствовал себя неловко, будто он нарочно соврал. Бабушка вернулась на веранду – и оттуда послышался громкий смех.

Проводив своих товарок до калитки, Акулина Ивановна вспомнила, что давно собирается проверить одну пеструю хохлатку – несется она или нет. Жрать-то она мастерица, вперед всех лезет, а вот кудахтать – ни разу не кудахтала. Может, больная какая, спаси господи, заразит всех курей! А вообще-то курице всегда помнить надо: перестала нести яйца – не снести головы!

Акулина Ивановна вынесла из кухни чугунок с остатками борща и размокшими корками хлеба, поставила его на землю и стала созывать кур. Те ватагой бросились к ней, окружили чугунок, жадно выхватывая из него куски, и клевали друг друга. Петух галантно кружился вокруг их хвостов, выискивая брешь. Интересующая бабку курица черной лапой вцепилась в край чугунка, чтобы ее не отпихнули подруги, и быстро молотила клювом.

– Ну да, как жрать – так первая! – возмутилась Акулина Ивановна.

Акулина Ивановна, конечно же, была не права, так как судила курицу с человеческой, а не с куриной точки зрения. Она осторожно, мелкими шажками, приблизилась к чугунку, схватила пеструшку и стала ее ощупывать. Куры, опрокинув чугунок, с кудахтаньем бросились врассыпную. Чугунок придавил ногу одной курице, и та судорожно пыталась освободиться.

Петух налетел на ноги Акулины Ивановны, но, получив пинок, вместе с бабушкиным тапком отлетел в сторону. Бабка продолжала изучать пленницу. Та хрипела и вдруг, закатив глаза, отбросила навзничь голову, дернулась и замерла.

– Свят, свят, свят! Никак околела? – обмерла Акулина Ивановна. Она положила курицу на землю, брызнула на нее водой. Петух бочком приблизился и осуждающе выкатил на хозяйку глаза, грозно шевеля длинными перьями хвоста. Бабка же не обращала на него никакого внимания и хлопотала вокруг пеструшки. Она приподнимала ей голову, крылья, оттягивала ноги, щипала, гладила, брызгала водой, дула на нее, тыкала клювом в блюдечко с водой, но курица лежала без чувств. Через четверть часа пеструшка пришла в себя, встала, оправила перышки и пошла, пошатываясь и вяло квохча. Петух повел свою семью со двора и столкнулся у калитки с Гришкой. Тот гавкнул на них тихо, и куры разлетелись.

\*\*\*

Димка был недоволен петухом и рассказал Гришке, как он бессовестно напал на одну из кур, а другую после бабкиного пинка сразу же раздумал защищать. Насчет того, что петух без объявления войны напал на блондинку, Гришка Димку успокоил, посвятив его в истинный смысл нападения:

– Петух на ту нападает, что зад подставляет. А вообще-то он точно трус.

– Гриш, давай нашего петуха водкой напоим для смелости. Это ж не петух, а так себе. Баба, а не человек. Позор двору нашему! Утром соседский петух опять его с дороги гнал. Помнишь, парни напоили водкой пса на кузне, и он лаял всю ночь, пока в него дед Тихон с ружья не бабахнул.

Косовский пестрый петух и точно был петухом не из храброго десятка. Он имел и мощную грудь, и мощные лапы, и роскошный гребень, но был лгун, трус, лентяй и обжора. Все пороки, отпущенные петушину роду, воплотил в себе. Когда он выводил свой гарем на дорогу, из соседнего двора Линевых с шумом перелетал ограду красный петух, за ним бежали его хохлатки с цыплятами. Увидев их, пестрый петух удирал к себе во двор, не принимая боя с соседом.

И ребята решили вдохновить его на подвиг, помочь петуху обрести смелость.

Они опустили в погреб, слили из бутылки остатки мутной браги в миску и накрошили в нее хлеба. Димка помешал приготовленное зелье пальцем, облизал его и передернулся:

– Ну и гадость! Теперь, Гришка, надо это, бр-р, скормить петуху. Давай его в сарай загоним и закроем там одного.

– А петух будет это жрать? – засомневался Гришка.

– Должен, кобель же сожрал.

Гришка с миской скрылся в сарае. Димка, кидая крошки, поманил кур за собой: «Цыпа, цы-ы-па...» Куры осторожно потянулись за ним, но остановились в нерешительности у темного входа. Петух выдвинулся вперед, зашел на полкорпуса в сарай, повертел головой и пропал в темноте. Димка тут же захлопнул дверь. С потолка посыпалась солома, куры разлетелись, а в сарае заметался петух. В щель протиснулся Гришка. Друзья привалили к двери большой камень и отошли в сторонку, чтобы петух успокоился.

Петух побегал, покричал и впрямь успокоился. Видимо, наткнулся на миску. Пацаны приоткрыли дверь, и Димка протиснулся внутрь. После яркого света он ничего не видел, только чувствовал духоту и паутину на лице. Приглядевшись, он увидел петуха возле пустой миски. Димка присел рядом и погладил петуха по голове. Тот дернулся, но с места не тронулся.

– Сидит, – испуганно сказал Димка другу. – Может, того, а? Шею взьерошил и ни гу-гу.

– Давай его выгоним.

Они открыли дверь. Петух вышел на свет, огляделся и пошел по дорожке, перед самым носом растянувшегося на земле Прута. Возле кухни он вдруг истошно заорал.

– Началось, – шепнул Гришка. – Захмелел.

Прут приподнял голову, огрызнулся на муху и внимательно поглядел на обнаглевшего петуха. Петух созвал хохлаток и стремительно повел их развернутым флангом на границу. Все шло как по маслу.

– Я тебе говорил! – торжествовал Димка. – Сейчас драка будет. Наволочку готовь для красных перьев.

Едва петух Косовых показался на дороге, появился и его противник – красный линеvский петух. Он поиграл перьями, блеснувшими медью в лучах закатного солнца, и яростно почесал лапой затылок. Затем он смело подошел вплотную к пестрому тусу, с намерением проучить нахала. Но тот неожиданно, как коршун, прыгнул на заклvтого врага, выставив вперед когти. Линеvский петух отскочил в сторону, но тут же был сшиблен с ног. В ход пошли клювы, когти и многолетняя ненависть. Красные, рыжие, серые, белые перья полетели во все стороны, и не успели они еще осесть на землю, как красный петух оказался на своем дворе.

А пестрый петух, впервые познав вкус победы, долго еще стоял на дороге и ошалело орал.

Вернувшись во двор, он направился к миске Прута и стал созывать к ней кур. Когда он влез ногами в тарелку, Прут, чтобы не искушать себя, встал и направился к своей конуре. Путь его лежал мимо петуха, но тот спокойно продолжал клевать собачью еду, как свою собственную. Прут, не стерпев такой откровенной наглости, оскалился и отхватил нахалу полхвоста.

## Воспоминание 4. Как вороная кобыла стала белой

Гришка дня не мог прожить без приключений и как-то предложил Димке побелить старую вороную кобылу Версту. Верста доживала уже второй десяток лет, от солнца она приобрела грязно-бурую окраску, но голова и ноги были черные, и лишь местами белели седые волоски – так называемая масть вороная, в загаре, стариковская масть. У кобылы хватало сил только на еду и сон. Чтобы не делать лишних телодвижений, поев, она засыпала стоя, а если проснувшись лежала, то старалась и поесть тоже лежа. Обычно она паслась возле дома своих престарелых хозяев – Глазыриных, живших в самом конце хутора, за речкой. За их убогой хаткой, крытой соломой, начиналась степь и уходила вдаль песчаная дорога. Казалось, эта дорога уходила так далеко, что стоило старикам немного отдохнуть, набраться сил и отправиться по ней вместе со своей любимой лошадкой – рано или поздно они добрались бы таки до собственной юности.

У стариков детей не было, и кобыле перепала вся теплота их добрых сердец. К ней они относились как к члену семьи.

Старик Глазырин лет пятнадцать тому назад, когда ему было только шестьдесят, ездил на ней в станицу и даже любил изредка пускать ее в галоп. Верста вела свою родословную от местной казачьей кобылы и персидского жеребца-гастролера, и отличалась в молодости сухостью сложения, была энергична, имела быстрые аллюры. Самой примечательной частью экстерьера у нее была голова с узкой мордой, тонкими губами и изумительной красоты умными печальными глазами. У лошадей спина не такая гибкая, как у человека, поэтому они всю жизнь и везут кого-то. И к двадцати годам стареют, бедняги. К старости и Верста, конечно же, стала иной, но для стариков Глазыриных она оставалась все маленькой игривой девочкой. Они души в ней не чаяли и любую пищу делили на четыре части: две – себе, две – кобыле.

Гришка притащил ведро с побелкой, кисть на длинной ручке и гребень.

– А известкой не сожжем ей кожу? – спросил Димка.

– Это глина, обычная побелка.

Димка захватил горбушку хлеба, закатанный кусок сахара, самый большой огурец, и они пошли за речку. Время было послеобеденное, старики спали, закрыв ставни от зноя.

Под огромной грушей, в тени, спутанная Верста подбирала падалицу. Ребята осторожно приблизились к ней. Кобыла подняла голову и замотала ею, отгоняя мух.

– Верстужка, Верстужка, – погладил ее храп Гришка, – моя хорошая. Мы тебя сейчас причешем и ты станешь красавицей, – и он стал гребнем расчесывать гриву и выбирать из нее репы. Версте было очень приятно вновь услышать слово «красавица» еще из чьих-то уст, помимо хозяйских. – Димка, дай-ка огурец! И начинай белить ей бок.

Гришка с хрустом откусил пол-огурца, а другую половину дал Версте. Димка окунул кисть и боязливо коснулся лошади. По коже Версты пробежала дрожь, словно на нее сели слепни и мухи. Димка стал смелее водить кистью. Похоже, что Версте нравилась прохлада от побелки, и она стояла, не двигаясь. Гришка продолжал гладить кобылу, расчесывать ей гриву и хвост, выдирать из них репы, поделился с ней хлебом, дал кусок сахара, а Димка тем временем, войдя в азарт, кончил белить и второй бок кобылы.

– А как же с мордой и ногами?

– Бели и их.

Димка выбелил Версте голову. Морду. Остался черным один нос, и было смешно, когда кобыла вдруг оскалила желтые стершиеся зубы, точно потешаясь над своим преображенным видом.

– А ноги?

– Ноги давай я побелю сам, – сказал Гришка. – Тут надо умеючи. Она хоть и старушка, да все равно ноги о-го-го! – он взял кисть, быстро и уверенно выбелил кобыле ноги.

– Может, хвост оставим черным – для красоты? Спереди нос черный, а сзади – хвост, – предложил Димка.

– Не надо красоты. Надо, чтобы она была похожа на обычную лошадь.

Под вечер из избы вышел, потягиваясь, дед Глазырин. Хотел напоить кобылу, но ее нигде не было. У двора дремала под грушей чужая белая лошадь. Старик подошел к ней, внимательно осмотрел ее плохо видящими глазами – и не признал.

Узнав о пропаже, бабка запричитала, подошла к Версте и тоже не признала ее. Кобыла приветливо махала им белой головой, но те оставили ей ведро с водой, отвернулись и ушли в избу.

Весь следующий день старики провели в безуспешных поисках пропавшей лошади. Осмотрели берег реки, заходили во все дворы, но никто не видал их Версты и не мог помочь им. Опечаленные старики сидели на завалинке, глядели на пасущуюся белую лошадь и горевали о своей Версте. Приблудной лошадке перепало с их стола, что послал им в этот день господь.

К вечеру ветер нагнал тучи, и ночью разразилась гроза с ливнем.

Утром Глазырины, еще не вставая с постели, загадали: если белая лошадь ушла, Верста непременно найдется. Глазырин растворил дверь и увидел напротив, в лучах восходящего солнца, как в ореоле, свою вороную кобылу.

Не веря глазам своим, он подошел к ней, обнял за шею и заплакал. Осматривая лошадь, он заметил в гриве куски белой глины. Дед потрогал их, и пальцы стали белыми. Он все понял, выругался незлобиво: «Проклятые!» – потом засмеялся и поспешил сообщить радостную весть своей старухе.

## Воспоминание 5. На реке

Проснулся Димка поздно. Ставни были уже закрыты от солнца. О темное стекло билась муха. Два солнечных луча из щелей ставни пронизывали наискось комнату, и в них кружились пылинки. Пахло укропом и овчиной. В чулане было прохладнее и глухо, как в валенке.

Мальчик вышел на крыльцо и зажмурился от яркого света. Белый полдень слепил ему глаза и жег голову, макушка была горячей, как песок. Все вокруг замерло, только под ногами шевелилась и поскрипывала разошедшая половица.

Во дворе было пусто. Воздух, мерцающая, волнистыми струйками поднимался к высокому небу. От ночного дождя не осталось и следа. Дождевая вода сбежала, оставив на земле желтую пену и грязный мусор. Илистая почва возле реки уже высохла и покрылась сеткой трещин. Привяла и поседела трава. Небо в зените было прозрачно-голубым, а к горизонту – светло-синим. Нестерпимый блеск реки и раскаленный песок наводили Димкины мысли на то, что небосвод под солнцем стал плавиться, как смола, и стекать в реку, а от самого солнца отвалился, как от раскаленной печи, кирпич. Он упал на землю и рассыпался на миллионы огненных золотых песчинок, которые жгли ему босые ноги.

На песке лежал Гришка.

– Пошли ловить рыбу, – предложил он.

– Жарко, – сказал Димка. – Я охолонусь.

Гришка ловил рыбу в тени вербы, а Димка, раз окунувшись, забрался на это же дерево, ствол которого лежал низко у поверхности воды, устроился поудобней в его развилке и, болтая ногами, стал смотреть на речку, на Гришку, на редких прохожих, измученных зноем.

В его воображении игра световых бликов на поверхности воды постепенно стала восприниматься как калейдоскоп голубых, зеленых и желтых огней, развевающихся на ветру знамен, под которыми яростно сшибались древние воины. Рябило в глазах от несметного множества кольчуг, сверкали щиты и латы, мечи и кинжалы, развевались зеленые конские гривы.

У Димки заблестели глаза, лихорадочно летело в неведомые дали его воображение. Ему хотелось соскочить с дерева и ворваться в самую гущу сечи. От неосторожного движения он свалился на сидевшего внизу Гришку, и оба полетели в воду.

\*\*\*

– О чем беседа? – спросил проснувшийся Борода.

– Да так, ни о чем, – ответил Рассказчик. – Я все больше прихожу к выводу, что все окружающее нас – и вот этот потолок, и твои ноги, Борода, и мой бурчащий желудок, и линии судьбы на твоих ладонях, Рыцарь (у тебя совсем разные руки, будто тебе предназначены две судьбы), – все дает нам ежесекундно какой-то сигнал, знак, но мы его не понимаем. Не видим. Как слепые котята. Обидно.

В кладовке мы провели два дня, делая радиальные вылазки в поисках еды, но все безуспешно. За два дня у нас маковой росинки во рту не было, и круто соленый селедочный хвост вспоминался все с большей нежностью, и все сильнее росло убеждение, что Хаврошечка в своей критике сферы общепита был не прав. Отправившись с Рассказчиком в очередной поход, мы захватили, как обычно, банку для воды и металлический прут, на всякий случай. Забыл я правило: все, что берется на всякий случай, этот случай и порождает на всякий случай.

На этот раз мы забрели дальше, чем обычно. В коридоре была мертвая тишина, тишина тупика. Так оно и оказалось – дальше идти было некуда.

– Смотри, крыса, – шепнул Рассказчик. – Еще одна. Еще! Черт! Сколько их!

Я схватил Рассказчика и взвалил его себе на спину.

Крысы окружили меня и прыгали, стараясь вцепиться в ноги Рассказчику. Мой железный пирожок с мясной начинкой их, похоже, не интересовал по причине бесперспективности, что

говорило об их очень высоком интеллекте: даже люди, облачившись в рыцарские доспехи, бес-толково проводили время в изнурительных побоищах, не нанося никакого урона друг другу.

Я лупил прутом вокруг себя без разбору. Прут то лязгал по полу, то попадал в мягкое податливое тело крысы, наполненное интеллектом и душераздирающим визгом. Крысы без особой охоты ушли, бросив убитых и недобитых на мой произвол, то и дело оглядываясь на нас и останавливаясь. Когда в темноте окончательно погасли огоньки их глаз, Рассказчик сполз с меня.

– Да-а... Спасибо тебе, славная крепость Измаил. Наколотил ты их, однако... Щелкунчик.

Мы подобрали несколько крыс за хвосты и вернулись к своим спутникам. Женщина что-то рассказывала ребенку. Борода сидел и молчал, как сыч.

– Борода, кинь спички. Дроф настреляли.

– А почему они с хвостами? – спросила Сестра.

– Ты, прямо, как Красная Шапочка: почему да почему? – сказал Рассказчик. – Ты видела птиц без хвоста? Без хвоста далеко не улетишь.

– Это чтоб от охотников след заметать, – сказал Борода.

– А перья где?

– Да облетели.

– Свежевать будем или так... с перьями? – спросил Рассказчик.

– Если можешь, освежуй, освежуй, освежувывай.

Рассказчик отошел в угол, «чтобы не летела чешуя», и застыл в раздумье. Борода подошел к нему:

– Дай-ка я. Мне сподручнее. Не отягощен чрезмерным воображением. А ты пока нащепи лучинок и разожги костерок.

«Дроф» подвесили на проволоке и поджарили. Рассказчик кашеварил. Кушанье готовилось с треском и паленой вонью. Когда жаркое было готово, он пригласил всех к столу.

– Вот вам вилочки, – он протянул заостренные палочки, похожие на зубочистки, – а ножик один, – он первый поддел «дрофу» и, закрыв глаза, откусил. – Хм, вкусно... Крылышко, наверное. Божественно! Парижане в семьдесят первом ели. Если не глядеть, не нюхать и не жевать – как в столовке – очень даже ничего. Я, пожалуй, даже добавки попрошу. Я в детстве добавку подавкой называл. Хороша подавка!

Борода и я, ободренные примером Рассказчика, не потерявшего говорливость после снятия пробы, тоже приступили к трапезе. Сестра так и не притронулась к еде, а мальчику предложить «дроф» мы не решились.

– Ему рано, пусть подрастет, – сказал Рассказчик. – Это пища мужчин. На его век хватит.

– Ну, что ж, господа, пора возвращаться к нашим баранам, – сказал я.

– Лучше бы к их няням, – крикнул Рассказчик.

Борода недоуменно посмотрел на нас.

– У него литературные ассоциации и реминисценции, – пояснил я Бороде. – Это профессионально: истоки поэзии искать в Арине Родионовне.

– Вы этих... дроф возьмите с собой, пригодятся еще, – сказала Сестра, указывая на остатки пиршества.

Мы вернулись к нашим баранам. Терпение – их вечный удел.

Очередь не менялась во времени, как Дориан Грей. Было заметно, что Рассказчика преследует эта литературная мысль. Мне же другое пришло на ум. Пожалуй, лучшей организации и большего порядка, чем очередь, не знали даже римские легионы. Понадобилось два тысячелетия, чтобы достичь в управлении человеческой стихией такого совершенства. Вертикальная и горизонтальная иерархия, ячеистая структура, где каждой *i*-й ячейке соответствует *j*-й член, и никакой другой... Именно очередь сближает нас с такими гениальными архитекторами, как

пчелы и муравьи. И именно она, и только одна она доказывает, что разум присущ в равной мере этим насекомым и человеку. Только они – от него идут, а мы – к нему приходим. Если успеваем.

А у наших была новость: сыграли свадьбу Боба с его новой знакомой – у нее сразу же прошел вывих ноги, а рот стал еще чувственней. Со свадебного стола и нам достались крохи – молодая жена протянула мне черствый кусочек (у нее в сумке, за подкладкой, завалились с мирных времен три ванильных сухаря, они еще источали, хотя и слабо, приятный запах ванили). Я отдал этот кусочек Сестре. Она отщипывала невидимые крошки и бережно клала их ребенку в рот. А Бобу мы подарили в качестве свадебного подарка жареную птицу, которую он принял с ревом восторга.

– Друзья! Выпивка за мной!

– Чего там! – махнул рукой Рассказчик. – Не к спеху. А вот тебе не мешает подкрепиться.

\*\*\*

А жизнь, как говорят журналисты, не стояла на месте. Жизнь – не цапля. И бурлило не только в животах, бурлило в умах, бурлило в людских сердцах. Во время двухдневной стоянки, пока мы отсутствовали, начался грибной сезон: образовалось сначала две, потом еще две, потом сразу пять партий, каждая со своим уставом, программой, сторонниками и лидерами.

Лидеров, как всегда, отличало страстное желание: во имя счастья ближнего идти вместе с ближними своим особым путем, до далекого общего конца, а по пути метать обещания, как икру. Сторонников отличала непоколебимая ничем вера в исполнение этих обещаний и удивительное отсутствие мозгов. Что касается программы, привлекательность ее зависела от трех составных частей: литературных способностей авторов, умения абстрагироваться от окружающей жизни и научной глубины освоения священных писаний. Устав же подбирали, как одежду, по фигуре и вкусам. О вкусах не спорят: одни любят ходить, как шотландцы, в юбках, а другие – без штанов. Разумеется, у каждой партии была своя касса, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся все-таки кассой общей.

Регистрация партий проводилась в порядке живой очереди, на красном ящике с надписью «ПК», выдранном из стены. Регистрировал их круглый мужчина с прической под горшок, как у Емельяна Пугачева в учебнике истории. Он сидел на свернутом пожарном шланге, подтачивал мелок и аккуратно и торжественно выводил маленькие буквы на щите из оргалита, как на скрижалях истории. И хотя щит ничем не был похож на щит Ахиллеса, а в секретаре всех партий самой воинствующей частью была упомянутая челка а'la Пугачев, все-таки приходили на ум строчки Пушкина о народном бунте.

За три дня зарегистрировалось 22 партии и одна подпартия (что это было такое, не знали, как водится, и сами учредители). Тут же решили провести Первый объединенный Учредительный съезд всех партий. И тут же стали его проводить. Понятно, образовался бедлам, понятие сугубо русское, как бы ни оспаривали это англичане. Он продолжался до тех пор, пока кто-то не рявкнул: «Кончай соплежуйство!» Соплежуйство прекратилось. Началось соплепийство.

– Ты смотри, а ведь ни одной женщины нет среди всех этих бесноватых, – сказал Рассказчик.

– Как нет? – возразил Боб. – А вон, ничего даже...

– Которую за волосы по земле таскают?

Я напомнил Рассказчику, что все женщины сейчас находятся либо в султанском гареме, либо на раздаче в столовке, либо на экскурсии по Эрмитажу.

Весь этот, и впрямь, бедлам вряд ли скоро бы кончился, если бы всех не переорал заскучавший Боб Нелепо. Наверное, у всех его предков были могучие голоса.

– Друзья! – гаркнул он, пригладив разом все шумы и выкрики. – Други! У нас с вами все впереди! Исключая, разве, уважаемых представителей секс-меньшинств. Раз так – вперед к победам! А тыл нам прикроют голубые!

И, вернув несколько крепких слов и смачных выражений, Боб заразительно захохотал. Захохотал вслед за ним и съезд. Обстановка разрядилась настолько, что первое заседание учредительного съезда 22 партий и одной подпартии пошло, вопреки стараниям лже-Пугачева, к черту.

– Жаль, протокол не вели, – сказал Рассказчик. – Внукам было бы интересно почитать. Взять бы...

Взять бы сейчас все партийные кассы да набрать в кабаке жратвы с выпивкой – ох и съезд получился бы! – крякнул Боб на голодный желудок. – А то голова, как фанера, никаких фантазий. Все фантазии в животе бурчат. Всю жизнь не мог понять этих орущих олухов – о чем кричат, к чему призывают, куда ведут?

– Слепые поводыри... – начал откуда-то взявшийся священнослужитель в черной хламиде.

– Совершенно верно, батюшка! – поспешил согласиться с ним Боб. – Слепые, как Гомер. Олухи царя небесного, – он ткнул пальцем вверх, потом, присмотревшись к бороде духовника, вытащил из нее какую-то веревку. – Ведь они ничего не знают, ничего не умеют, ничего не видят, ничего не слышат, ничего не чувствуют – у них нет ни одного органа, через который можно было бы с ними общаться (надо сказать об этом сексуальным меньшевикам). И вообще они – ни взад, ни вперед... – Боб помрачнел. – Все эти лидеры, все эти орущие матероидеалисты, давно перековавшие плуги и мечи на «орало», с пустым желудком и жидким задом, – зачем они рвутся осчастливить меня, мою бессмертную душу? Да чтоб им лопнуть от потуг!

– Боб, ты не прав, – предупредил Рассказчик. – Лопнув, они все для тебя и устроят. Не рад будешь...

– А что мне, шею им подставлять? Слуга покорный!

«Слуга покорный. Покорный слуга. От перемены мест слагаемых – результат один», – подумал я.

*Глава 10. Рассказчик продолжает*

## Воспоминание 6. Прут, Дюк и другие

– У Василия Федоровича было три собаки. Старшая – охотник, средняя – вор, а младшая – так себе, Иванушка-дурачок, – начал Рассказчик очередной свой рассказ. – Ты знаешь, как только начинаются политические беседы, меня начинает колотить, будто током. Это ж сколько энергии люди тратят зря! Слушай, откуда они ее берут? Наверное, друг у друга. Вампиры. Ладно, слушай.

\*\*\*

У Василия Федоровича было три собаки: охотничья легавая Ада, уже преклонных лет, и ее сыновья – Прут и Дюк, погодки. Жил еще на дворе годовалый волк, бурый и сумрачный. Никогда не знаешь, что у него на уме. Как у политика. Встанет где-нибудь в проходе и стоит. Молчит и глядит, будто надумал что-то, а сказать не может, или раздумывает, стоит ли говорить – еще не поймут. И с места его не стронешь. Подолгу мог стоять не шевелясь, и все его опасно обходили. Собаки волка побаивались, даже Ада торопливо лезла под стол или кровать, когда он появлялся в избе. Если же они встречались во дворе, Ада, ворча и взъерошившись, недовольно сворачивала в сторону, а Прут и Дюк жались друг к другу и отбегали подальше. За угрюмый характер и немоту дед прозвал волка Герасимом, но чаще всего его называли просто – Он. Волк же был настроен ко всем дружелюбно, он даже любил играть с детьми, покататься по полу, рыча и скаля зубы. Димка выворачивал овчинный тулуп мехом наверх, имитируя овцу, ползал на четвереньках и блеял, а волк бросался на него и отскакивал прочь, описывая круги и теребя зубами овчину, и всегда норовил уцепиться в загривок и потрепать.

– Додразнишься, – смеялась бабушка, – возьмет и съест тебя.

А дедушка добавлял:

– Волка ноги кормят, свои и чужие, особенно когда они бараньи.

Любил же Он, видимо, только Акулину Ивановну и кошку Белку. Хозяйка прикармливала его хорошим куском и одна не боялась погладить по спине и голове, а Белка любила потереться о его ноги, подняв хвост и мурлыча. Волк вырос на кошковых глазах, и когда он еще был толстым и неуклюжим волчком, они вместе ели из одной миски, после чего Белка вылизывала ему всю морду и особенно тщательно глаза.

– Что делается! Что делается! – восклицала Акулина Ивановна.

Дед махал рукой:

– Нынче весь мир набекрень!

Волчок Василию Федоровичу подарил друг охотник совсем крохотным щенком, и первое время дед сам возился с ним.

Новый тревожный запах волка не давал Аде покоя, и она все реже и реже стала заходить в избу, пока волчонок подрастал. Окрепнув, он бегал во дворе и по улице, никого не трогал и не пугал. Прохожие принимали его за помесь овчарки с дворняжкой. Но, видимо, правда, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Через год Герасим пропал, убежал, вероятно, искать сородичей. Настала зима, под окнами пурга намела сугробы, и утром, очищая снег с крыльца, Василий Федорович замечал под окнами волчьих следы и вспоминал Герасима: может быть, это он, проголодавшийся и замерзший, прибежал домой, заглядывал в окна и ждал, что его впустят, а мы не знали и не впустили... Ах ты молчун, молчун, Герасим. Дал бы хоть какой-то сигнал. Лапой поцарапал, хвостом постучал в дверь. Завыл бы, что ли. И собаки хороши – волка не учуяли. Потому, наверное, и не учуяли, что это точно Он был. Ушел, бедняга, с обидой на нас. Хоть и зверь, а добро понимает. И Василию Федоровичу становилось так грустно, так жалко волка, словно это существо было ему родное и близкое. Дед даже встряхнул головой от таких крамольных мыслей, но нет, и впрямь, трудно было назвать кого-нибудь из людей, чтобы так проник в душу.

Не стало волка, и вроде бы просторней в избе было, а в душе комок застрял, чего-то не хватало, появилась какая-то ненужная пустота. Видела и Акулина Ивановна, как к дому тянулись волчьи ночные следы, делали круги под окном и пропадали в глубине сада. Вечером она жаловалась деду: «Вся хужоба зимой к человеку тянется, к теплу, а Он – от него бежит. где-то Он сейчас?»

Как-то весной люди слышали выстрелы по направлению к ветлечебнице. Говорят, ветеринары застрелили волка – гонялся за курами. Возможно, это был Герасим...

\*\*\*

Ада была породистой собакой с хорошей родословной, тянувшейся чуть ли не с прошлого века. Знакомый охотник предлагал за нее охотничье немецкое ружье, но дед не сменялся. И не экстерьером, не родословной, не красивым шоколадным окрасом брала за душу Ада, а тонким собачьим умом. Одно было в ней не так, как хотелось бы: не ведала она сословных предрасудков, следствием чего, к огорчению Василия Федоровича, на свет появился сначала Прут, а затем и Дюк. Остальных щенков разбирали знакомые.

Ада отличалась выносливостью, резвостью, терпением в стойке, была послушна и ласкова со всеми, любила детей и не боялась взрослых. Однажды на пристани ее приласкали матросы самоходной баржи и увезли в Ростов. Вернуть собаку помогла охрана при шлюзовании баржи.

Ада обычно спала на овчине, но когда все засыпали, наступала темнота, она бесшумно перебиралась на кровать Димки, медленно заползала, ложилась, вытянувшись, рядом с ним, если он уже лежал, голову клала на подушку и умудрялась как-то скрыться под одеялом. Ей не разрешались эти проделки, бабка даже стегала ее веревкой. Акулина Ивановна рано вставала доить корову, и Аде позоревать в теплой постели не удавалось. Собака зорко следила прищуренным глазом за движениями бабки, и если та поворачивалась в ее сторону или просто брала в руки веревку, пулей вылетала из кровати...

\*\*\*

Прут унаследовал от матери только ум и породную осанку, а отец передал ему пеструю масть дворняжки и длинную волнистую шерсть, что роковым образом сказалось на судьбе собаки. Имея сильную тягу к охоте, влечение к поиску, он из-за своей внешности не внушал доверия. Его не стали обучать охотничьему ремеслу, а когда он самовольно дважды появлялся в поле и запугивал дичь, его прогнали с охоты и отругали. Ему не хватало терпения, как Аде, замирать, сигналить хвостом и ухом, поджимая переднюю лапу, и только по знаку хозяина прыгать в кусты или бурьян и поднимать выводок куропаток. Он, где чуял дичь, туда и валил напролом.

Прут стал угрюм и замкнулся в своем горе. Он как-то сразу постарел и не проявлял больше интереса к охоте. Стал промышлять в одиночку, работал темной ночью и не разменивался по мелочам. Все, что плохо лежало из съестного, Прут тащил домой. Добычу он не ел, не прятал впрок, а клал у порога, ложился рядом и ждал до утра, когда Акулина Ивановна выйдет доить корову. При ее появлении он вскакивал, кидался с визгом к ней, преданно заглядывал в глаза, бил хвостом о крылечко, мотал головой и фыркал, словно указывая на свой подарок. Это были связки тарани, головка сахара, куски масла, колбаса, сыр, сушки и прочая снедь. И не заваленое в пыли и песке, а чистое, словно нес он ее в упаковке из магазина. Промышлял он на рынке, куда на ночь съезжались на подводах крестьяне. Умудрялся стащить и с прилавка, и с чужого двора. Его ругали, даже не раз наказывали, сажали на цепь, но он был неисправим и продолжал «свою охоту», словно в отместку за то, что его отстранили от настоящей. Может быть, он хотел убедить этим людей, на что способен, чтобы они поняли это и взяли с собой на охоту. Все, что он приносил, ему отдавали назад, он где-то зарывал и, по всей вероятности, никогда этим не пользовался.

Однажды Акулина Ивановна увидела у порога сладкий пирог. Прут был особенно весел, скалил зубы и будто сам радовался такой добыче. Он долго прыгал вокруг нее, дергал за юбку,

лизал ноги, словно умолял взять пирог. Акулина Ивановна на этот раз оробела всерьез – это не с рынка, это уже прямо из дома, сраму не оберешься, и прибьют собаку, наверняка прибьют.

А в полдень пришла ее знакомая, пригласила их с Василием Федоровичем на вечер отметить день рождения. К слову, она поведала о поразившем ее случае, даже испугавшим ее своей непонятностью. Вынула она из печи пироги и вынесла на веранду остывать, а сама вернулась на кухню. Минут через 15-20 пришла за пирогами, а сладкого нет. Никто не приходил, не шел мимо, а пирог – как корова языком слизнула. Корова и впрямь где-то мычала, но издали. Акулина Ивановна замерла: «Вот она, кара божья! Срам-то, срам какой!». От страха и стыда она не выдала Прута, не сказала, что тот уже отведал именинного пирога. Хорошо, что в деревне еще никто об этом не догадывался.

\*\*\*

Отцом Дюка был соседский линеvский Бирон, огромный кобелюга, черный, как уголь, в работе почти не уступавший Аде. Сам он был полукровка, как и Прут. Непостижимо, откуда в такой толстой псине было такое тонкое чутье.

Дюк был породист, красив, но совершенная бестолочь, как потом оказалось. Он обладал детской непосредственностью, всему радовался, всех радостно встречал и провожал, прыгал на грудь, лизал в губы, и если во двор входил с кем-нибудь дед, он лаял не на чужого, а на деда – восторженно и громко.

Василий Федорович, помня о промашке с Прутом, стал обучать золотисто-шоколадного Дюка тонкостям охоты на птицу. Но Дюку, сколько ни внушали, что главное в охоте это терпение и молчание, было все невдомек, и когда он чуял дичь, не делал стойку, как Ада, а начинал лаять с таким восторгом, будто к нему собрались в гости собаки со всего света, и радостно смотрел при этом на Аду и на деда. Дед только плевался с досады. Дюк же не чувствовал за собой ни малейшей вины даже тогда, когда вся охота по его милости шла к черту. От охоты его отстранили, но это ему было только на руку. Он окунулся в земные радости: сон, лень и еду.

Сутками напролет он спал на земляной крыше погреба, а в часы бодрствования лопал все, что находил на земле, в горшках, что перепало с хозяйского стола и от прутовых приношений. Дюк, наевшись, ложился набок и любил, когда его щелкали по туго набитому, как барабан, животу. Пузо звенело, а Дюк жмурился и лениво-лениво возил хвостом по земле. И по всему его облику было видно, что милее человека у этой собаки сейчас никого нет.

Собак кормили прежде, чем сами садились за стол, чтобы они не вертелись у ног, не ставили свои лапы на колени, не роняли слюни и не лезли мордами в тарелки. По словам Акулины Ивановны, у собак была «не жизнь, а разлюли-малина».

Обычно стол накрывали у порога, на открытом воздухе, а в жаркие часы – на веранде. Однажды, когда в гости пришли Линеvы и, наевшись арбузов, все стали шумно вздыхать и сетовать на тесную одежду, Дюк, по своему обыкновению, насытившись до отвала, лежал вверх атласным брюхом. Одно ухо у него лежало на земле, а второе прикрывало правый глаз, левый глаз хитро блестел в прищуре. Пес тоже вздыхал и слабо повизгивал. После еды он любил подремать и погреться на солнышке. Когда солнце стало припекать, он лениво поворочался, намереваясь встать и перейти в тень, но так и не смог подняться и остался на прежнем месте. От этих движений в его животе что-то заурчало, зашипело, и неожиданно для Дюка, из него, словно выстрел, вылетел звук, напоминавший шум выбитой из бутылки пробки. Мгновенно вскочив, он юлой завертелся на месте и стал яростно лаять себе под хвост, стараясь схватить этот хвост зубами, считая его виновником своего испуга. Сидевшие за столом громко и долго хохотали. Когда Дюк наконец-то успокоился и принял привычную для него позу, Василий Федорович щелкнул его по пузу и спросил, укоризненно глядя на всех:

– А как вы поступили бы на моем месте?

Все опять весело рассмеялись.

## Воспоминание 7. Собачья верность

Однажды, еще не стало смеркаться и оранжево-красное солнце только наполовину ушло за горизонт, а на небо уже выкатила полная луна, – прибежала маленькая и круглая, как луна, Дуська Соснина и, перевалившись через изгородь, прокричала, что проклятый Дюк, должно быть, совсем взбесился, на выгоне напал на ее бычка Трофимку, и тот загудел в яр, свихнул себе ногу. Хорошо, что пацаны видели, а то так и сдох бы в яру. На себе приперла его до дому – делай теперь, к чертовой матери, уход за ним, будто других забот у нее нет. Еще, слава тебе господи, ее не покусал, проклятый. Так что пса своего держите хоть под иконами, а появится еще раз на хуторе – в Совет сообщу и уполномоченного приведу, чтобы произвел законный отстрел.

Выпалив эту угрозу, Дуська еще минут десять кричала разные громкие слова, которые били по голове Акулины Ивановны, как разрывные пули. После ее ухода у Акулины Ивановны еще с полчаса звенело в голове, и она приняла таблетку от поднявшегося кровяного давления.

«Недаром говорят, бодливой корове бог рог не дает, – подумала она. – Одним языком Дуська протаранить душу может, а если ей еще и рога?»

Но с Дюком действительно было что-то неладное. Акулина Ивановна еще вчера заметила, что Дюка совсем не было слышно, он где-то пропал, прятался, а если появлялся, ходил медленно, с опущенной головой, не поднимая глаз, и не притрагивался к еде. Можно было, конечно, свести его к ветеринарам, но тех, как нарочно, вызвали в другой район – там объявили вроде как карантин по ящуру.

Когда Василий Федорович пришел с работы, она сказала ему:

– Дюк все-таки взбесился. На соснихинского бычка напал. Тот в яр свалился, ногу вывихнул. Дуська прибежала.

– А может, он первый Дюка боднул? – спросил Василий Федорович.

– Это соснихин-то бычок?

– Ладно. Пойду погляжу... А ты дома сиди! – прикрикнул дед на Димку.

Дюк лежал на погребке, забившись в самый угол под навес крыши. Взгляд у него был вялый, а из уголка рта свисала ниточка слюны. Дед поставил рядом с ним миску с едой, но Дюк к ней не притронулся. «Да, брат, плохи твои дела».

Василий Федорович зашел в дом, снял со стены двустволку. Заглянул в оба дула, проверил курки, ожесточенно щелкнул затвором. Опять повесил ружье и сел на сундук. Закурил. Потер рукой грудь – что-то неладное было в ней.

– Ну, что? – спросила Акулина Ивановна.

Дед ничего не ответил. Акулина Ивановна прижимала руки к груди, а на глаза ее навернулись слезы.

– Волка, что возле бахчи застрелили, точно признали бешеным, – сказал Василий Федорович.

– Господи!

– Ладно! – дед сорвал ружье, вытащил из-под лавки саперную лопатку и вышел, хлопнув дверью.

Димка кинулся к Акулине Ивановне.

– Бабушка! Он застрелит Дюка! Не разрешай ему стрелять в него! Не разрешай! Не надо! Я не хочу! Он же такой хороший! Он лучше всех вас! Ну за что, за что, бабушка?

Он хотел выскочить из избы вслед за дедом, но Акулина Ивановна не выпускала его. У нее катились слезы по щекам и тряслись руки, и она не знала, как объяснить внуку, что нельзя бешеных собак оставлять в живых, что это опасно для всех. Как объяснить внуку, что бешеную

собаку надо убить, как объяснить это ему, если он знает, что никто не имеет права никого убивать.

Потом уже, лет через тридцать, Мурлова вдруг пронзила ясная и спокойная мысль, что и бабушка и дедушка всего за несколько лет до этого пережили и смерть близких, и страх оккупации, и взрывы бомб, и убийства, совершаемые ежечасно на их глазах, и вот когда им самим пришлось решать судьбу собаки, жить ей или не жить, они оказались в состоянии шока, не меньшего, чем в дни войны.

– Дюк, ко мне!

Только что перекопанная грядка пахла вареной кукурузой. Был ослепительно-яркий, до черноты в глазах, полдень июля. Пик жизни.

– Дюк, ко мне!

Дюк встал только после третьего призыва.

Дед быстро шагнул за хутор к каменному яру. Миновав балку с ручьем, пошел в гору. Под ногами с шорохом осыпалась каменная россыпь. Прыскали во все стороны кузнечики. Большой плоский камень, набирая скорость, поскакал по склону, мимо плетущегося Дюка, мимо куста шиповника, прыгнул последний раз и исчез в бурьяне. Бурьян вздрогнул, качнулся, выпрямился и застыл.

– Ну, Дюк, пришли. Становись, – и дед вздрогнул от мысли: «Палач... Каково же человека расстреливать?..»

На возвышении дул сухой жаркий ветер, но деду было холодно. Внизу в золотом мареве лежал хутор, такой прекрасный и тихий. Щемяще пел невидимый жаворонок. И солнце гнало из прищура слезу.

Дюк встал грудью вперед и глядел на деда исподлобья. Казалось, он все понимал. Голова его бессильно болталась между растопыренных лап. Он тяжело дышал. Искрилась, как паутина, слюна, сбегаящая из уголка рта.

Может, все-таки не бешеный? Болеет?.. Но дед видел на своем веку много, в том числе и бешеных собак. Он воткнул в каменистую почву лопатку, медленно снял ружье. Приклад блеснул на солнце, и дед зажмурился. Он привычно вскинул ружье, собираясь выстрелить, не прицеливаясь, как он бивал «влет» птиц, но тут откуда-то сбоку метнулась темная тень, и дед чудом не спустил курок. Может, оттого, что палец был ватный.

Как из-под земли появился Прут и заслонил собою Дюка. Он часто дышал, язык его висел, и пес то и дело заглывал слюну.

– Прут! Фу-ты... Пошел!

Но Прут, прижав уши и хвост, не уходил.

Дед кинул в него камень. Прут увернулся, но не ушел. Дюк был безучастен к происходящему. Прут смотрел на хозяина такими глазами, что тому стало не по себе.

– Да уйди же ты! – в сердцах крикнул он и снова вскинул ружье. Прут стоял вплотную к Дюку. Так можно задеть и Прута. Василий Федорович опять бросил камень в собаку. Камень попал Пруту в бок. Пес вздрогнул, взвизгнул, но с места не тронулся.

А ведь здоровая собака бешеную за версту чует. Может, и правда, Дюк не бешеный?

Дед вынул патрон и, закинув ружье за плечо и захватив лопатку, пошел большими шагами под гору, оступаясь на съезжающих под ногами плоских камнях. Огромный камень свалился у него с души и, проскакав по склону мимо куста шиповника, прыгнул и исчез в бурьяне. Бурьян даже не пошевелился.

«Поди ж ты... – Василий Федорович вытер глаза рукавом. – Собаки, а как это у них! Может, отравил кто Дюка. Но кто? И за что? Когда же ветеринар приедет?»

Оглянувшись, дед увидел, что обе собаки все еще стоят рядом друг с другом. «Словно прощаются», – подумал он, и ему перехватило дыхание, оттого, может быть, что не простился

он ни с Гришенькой, сгоревшим в танке, ни с Сашенькой, которого угнали немцы неизвестно куда и зачем.

Навстречу, запыхавшись, бежал Димка.

– Куда ты? – дед схватил его за руку. Тот молча и зло вырывался из рук деда.

– Да успокойся ты, дурень! Не тронул я твоего Дюка. Вон они, оба.

Прут вернулся ночью. Один. А Дюка с тех пор никто не видел. Возможно, он не захотел умирать в родном доме. Или не хватило сил вернуться домой. А может, не мог простить людям их жестокости. Кто ж его знает...

Димка обежал все балки, облазил все яры вокруг хутора, но Дюка не нашел.

Некоторое время предполагали, что Дюк где-то лечится травами и корешками. Но он так и не появился, пропал бесследно.

А через несколько дней ночью завыл Прут. И, как нарочно, на черном холодном небе одиноко светила луна, напоминая огромный слезящийся глаз собаки.

Прут выл несколько ночей, и несколько ночей Димка безутешно плакал.

Раз только, перед заходом солнца, мелькнуло на дороге что-то золотисто-шоколадное, вспыхнуло на солнце и исчезло. Сердце вздрогнуло и долго не могло успокоиться.

## Воспоминание 8. Операция «Мщение»

Прошла еще неделя, стали понемногу привыкать к тому, что Дюка больше нет. Удивляло лишь, что бешенством заболел Дюк, которого и палкой не выгнать было со двора, а Прут, исколесивший все сады и степи, обнюхавший все закоулки в деревне, остался здоров.

Особенно это обстоятельство настораживало Димку. Он, напрягая память, вспоминал все минувшие события, и ему показалось странным, с чего это бабка Агафья вдруг заинтересовалась собаками, когда всем известно, что она их боится и терпеть не может.

Недели три назад она заглянула к Акулине Ивановне поболтать о своих бабьих делах, спросила, чем она кормит собак, и, между прочим, пожаловалась о странной пропаже: сушилась у нее на веранде рыба, и самая большая вязанка пропала. Никто не приходил, не уходил, а она словно бы на небо вознеслась. Когда Агафья говорила об этом, мальчика поразили ее глаза: они светились странным торжеством, точно бабке была известна какая-то тайна. А еще, сказала она, у Рыковых исчезла со стола колбаса, а у пастуха прямо с головы – шляпа.

Димка вспомнил, что после ухода Агафьи бабушка ругала Прута и вновь посадила его на цепь.

Сомнения его нарастали, и он заподозрил бабку Агафью в покушении на жизнь собак. Это, наверное, она подбросила им отраву, и Дюк ее слопал. А когда Дюк пропал, и Агафья что-то перестала заходить к ним во двор. Странное, даже таинственное совпадение!

Димка высказал Гришке свои подозрения. Тот согласился с ним:

– А это очень просто: в мясо втыкают иголки или толченое стекло – и собаке какую. Так немецких овчарок убивали. А бабка Агафья мо-ожет, я ее знаю!

«Ей надо отомстить», – решили друзья. Гришка, как более искушенный в проделках, предложил кодовое название мести – «Дрожжи». Но, во-первых, нужны были дрожжи, а взять их негде, и, во-вторых, очень уж памятен был случай с дрожжами у Ваньки Сидорова.

Одно время врагом № 1 Ваньки Сидорова была мельничиха (она в прошлом году перебралась в станицу). Как-то поймав Ваньку в своем саду, мельничиха стащила с него портки, отлупила крапивой и, без порток, прогнала со двора. От обиды Ванька до темноты ревел, сидя в реке, сгоняя красную сыпь с белого нежного места. Но голь на выдумки хитра: не вытерпев такого оскорбления и насмешек дружков, он смотался в станицу, раздобыл большую пачку дрожжей и подбросил их в уборную мельничихи. Уборная стояла в углу двора, над самым обрывом в яр, как надежный часовой. Двор же мельничихи выгодно располагался на возвышении, на виду у всего хутора.

На второй день, в прекрасное солнечное утро по склону яра на выгон поползло бог знает что. Слухи распространяются везде одинаково, и уже через полчаса все в хуторе знали о случившемся и потешались над мельничихой. Любопытные с другого конца хутора прибежали посмотреть на столь редкое явление природы.

Мельничиху никто на хуторе не любил. Она была приезжая, «москалиха», жила обособленно от всех, была крута и телом, и нравом, и года три тому назад, поговаривали, свела в гроб языком и кулаками своего муженька пропивашку.

Каким-то образом Сидоров старший узнал, кто сотворил сие злодеяние и выдрал Сидорова младшего, как сидорову козу. Надо ли говорить, что Ванька Сидоров с таким грузом насмешек и оскорблений уже никогда не смог баллотироваться в депутаты даже самого низшего уровня, и максимум, которого он достиг в своей служебной карьере, – это начальник цеха.

Вот это-то (возмездие) и останавливало Димку принять Гришкино предложение. «Не выдрали бы и нас, как Ваньку, – думал Димка и, схитрив, отказался от этой идеи: – Не будем повторяться».

И он изложил Гришке свой план мести.

Надо ударить по самому слабому месту Агафьи. Все в хуторе знали, что она боится всего на свете. Бойкая и шумная днем, с наступлением темноты она боялась собственного дыхания. На окнах ее дома были добротные ставни, единственные в хуторе, закрывавшиеся изнутри на железный шкворень. Дверь была не с крючком или щеколдой, как у всех, а с железным засовом. На ночь же изнутри к окнам и к двери Агафья еще приставляла тазы и корыто. Если кто и полезет – шуму не оберешься. Жила Агафья одна с самой войны.

– Раз она всего боится, надо ее поугатать. И не один раз, – сказал Димка, – а три. Так дольше помнить будет. Всякое дело надо, как в сказках, по три раза делать. Вон даже гвоздь – уж на что дедушка мой плотник – и то три раза по нему стучит, когда забивает.

\*\*\*

В первую ночь мщения была крошечная тьма. Самих себя в пору пугать. Небо казалось мрачным и угрюмым. Молодой тонюсенький месяц козликком прыгал в плывущих облаках.

Когда старики уснули, Димка выскользнул из хаты. Глухо и сыро было в саду. Гришка, ежась от прохлады, уже ждал Димку у калитки.

Ребята залезли в агафьин двор и подкрались к окну, возле которого стояла ее кровать. У Агафьи собаки не было, и оттого ночной двор выглядел каким-то пустым и одиноким. Ребятам все время казалось, что за их спиной кто-то стоит, им стоило больших усилий побороть свой страх и не озираться по сторонам. И точно, сам испугаешься раньше, чем кого-то напугаешь. И в сознании мальчишек промелькнуло: «А каково-то бабке Агафье, одной, в темной тишине, огороженной ставнями, шкворнями, тазами, со своей безысходной тоской и страхом?» Конечно, думали они не этими словами, но об этом.

Но слова словами, мысли мыслями, а дела делами. Дрожа от ночной свежести, а может, и от страха, ребята некоторое время прислушивались. «Стучит!» – «Где?» – «А вот: тук! Тук! Тук!» – «Да то твое сердце!» – оба судорожно хихикнули. – «Спит?» – «Наверно, спит, – подтвердил Гришка, стуча зубами. – Ну, начали», – он просунул в щель под ставню изогнутую проволоку и стал скрести ею по стеклу. Димка заскулил по-собачьи.

В хате задвигалось, и мальчишки мгновенно перелетели через забор. Шлепая по мягкой пыли, они добежали до двора Косовых и с ходу плюхнулись на остывшую завалинку. Отдышавшись, пошептались о планах на завтра и разошлись по своим домам.

\*\*\*

В следующую ночь они уже скребли и выли под дверь, а на крыльце оставили коровью берцовую кость и клочок собачьей шерсти, которую Димка предусмотрительно выстриг у Бирона. Уходя, друзья сунули под дверь самодельный проволочный крюк, удачно поддели им корыто и резко дернули на себя. В чулане загрохотало.

\*\*\*

На третий день с утра мальчишки уплыли на дедовой лодке на бахчу и вернулись только после обеда, сильно уставшие и с мозолями на ладонях. Не доплыв до гребли, они причалили к песчаному мысику, вытащили из лодки два громадных арбуза, разрезали каждый на две неравные части, очистили от мякоти и вымыли в реке полученные котелки. Потом в каждом котелке вырезали дырки для глаз и рта и воткнули по кривой палке.

Сегодняшняя операция состояла из трех этапов: два первых были объединены названием «Арбуз», а третий имел собственное имя – «Анатолий». Для успешного выполнения всей операции надо было Агафью заманить вечером на выгон. Обычно телята после выпаса сами возвращались по своим дворам, и редко какая хозяйка приходила за ними. У агафьиной телки на шее была повязана цветастая тряпочка. Ребята сразу узнали телку и не пустили ее к дому. Телка недоуменно потыкалась и осталась еще с двумя телятами пастись на выгоне.

Начало смеркаться. А телка все еще не появлялась. Раздосадованная Агафья взяла хворостину подлиннее и пошла на выгон. Чувствовала она себя неважно, хотела пораньше лечь спать, и вот, как нарочно, исчезла телка Машка.

Увидев ее, мирно пасущуюся на выгоне, Агафья тихо подкралась к ней и, заорав: «А-а, подлая, не нажралась еще! Я те-э дам!» – жиганула наискось рыжую спину и бок Машки. Телка в испуге шарахнулась от нее, обиженно мотнула головой и, крутя хвостом, усыпанным репьями, рысцой припустила к дому.

Солнце быстро село за Шпиль, и хутор сразу погрузился в темноту. Впереди по дороге тюкала копытами Машка, где-то ухал басовитый лай собаки и гремела ее цепь.

На пригорке у двора Косовых на дороге начинался песок, набивавшийся в чувяки, было трудно идти, а чуть дальше, на повороте, с обеих сторон стеной поднималась бузина и густая высокая трава, словно начинался глухой и темный тоннель, где и днем-то идти невесело. Справа от дороги была глубокая канава, скрытая огромными, как слоновьи уши, лопухами, а вдали мрачно высился Шпиль, самая высокая гора их всех гор, опоясавших хутор.

Под ногами скрипел песок, терпко пахло бузиной, не стало слышно лая собак, на землю спустилась ночная тишина. Телка уже скрылась за поворотом, стихли и ее шаги. Агафье стало даже жутковато. Она оглянулась. Никого. Справа, слева – тоже, вроде, никого. А вроде как и есть кто-то... Чтобы подбодрить себя – кашлянула.

И вдруг ей почудилось, что откуда-то сверху глухой голос позвал ее: «Агафья!» Она завертела головой по сторонам, силясь понять, откуда идет зов, как вдруг из лопухов справа выплыли два огромных черных шара с кривыми рогами во лбу. (Тридцать три года спустя один известный уфолог, говоря о контактах с внеземными цивилизациями, приводил этот случай в качестве подлинного факта появления инопланетян). «Единороги!» – обмерла Агафья. Ее обдало жаром, показалось, что голос, уже с неба, во второй раз позвал ее: «Агафья!» Не чуя ног, Агафья прыснула по дороге, увязая в песке и теряя чувяки. В себя пришла, только когда нагнала Машку. Рука судорожно взмахнула хворостину, и Агафья в сердцах перетянула еще раз ни в чем не повинную скотину.

В то самое время, когда Агафья еще шла по яру мимо сада Косовых, Акулина Ивановна, в поисках гнезда блудной несущки, забрела в глухой угол своего сада, заросший колючими кустами терновника. Уже стемнело, и ничего не было видно. Досадуя, она хотела вернуться во двор, но услышала шаги и, не лишённая женского любопытства, продралась к изгороди и посмотрела, кто бы это мог идти...

Вначале по дороге пробежал теленок, а за ним мелко сучила ногами баба в белой косынке. Баба оглянулась и прибавила рыси. Еще раз оглянулась и охрипло кашлянула. Акулина Ивановна опознала в бабе соседку Агафью и окликнула ее. Но в тот же миг увидела, как, словно из-под земли, на обочине дороги появились два существа, ни на человека, ни на зверя не похожие, и завыли.

– Спаси и помилуй! Спаси и помилуй! – перекрестилась Акулина Ивановна и решила окликнуть соседку, чтобы та не пугалась – рядом, мол, Акулина, не бойся, – но не узнала собственного голоса, словно кто-то другой угрожающе прохрипел: «Агафья!» Даже буква «г» прозвучала, как «х».

Агафья чесанула по дороге, откуда только у нее прыть взялась. Акулина Ивановна от страха застыла на месте, да и не побежишь сразу, когда в спину колет терновник. «Не дай бог, эта нечисть сюда ползет», – и не было никаких сил не то что бежать, а даже сдвинуться с места: ноги словно ватные, как во сне. А тем временем эти существа появились на дороге, и Акулина Ивановна разглядела у них руки и ноги. Существа были маленькие, уродливые и суетливые. Вдруг черные шары отделились от туловищ и полетели в сторону.

– Господи! – ахнула бабка и закрыла глаза – сейчас начнется светопреставление! – а когда осмелилась их вновь открыть, увидела две убегающие фигурки и все поняла.

– Ах, нехристи! – истерически закричала она им вдогонку, но те двое как в воду канули. Чтобы предотвратить скандал и огласку случившегося по хутору, Акулина Ивановна решила отвлечь от ребят беду и направить подозрения Агафьи в другом направлении.

К Агафье пришлось стучаться несколько раз и, достучавшись, ответить на сотню вопросов, как в райсовете на анкету. Агафья была не на шутку перепугана.

– Это, Куля, разумению моему не постижимо, и для чувств моих испытание сверх всяких возможностей. – (Агафья еще до войны окончила семилетку и любила книжные выражения даже в состоянии аффекта). – Только что я собственными глазами такое видела... такое... чего и в «Тарзане» не показывали.

– Да постой ты, Агафья, не суетись. Это ж я тебя со своего сада окликала.

– Ты?

– А то кто же.

– А... а... а... эти?

– Эти... Это два телка были.

– С одним-то рогом?

– А у Иванцовых бычок без рога – он и был.

– А другой?

– Другой был с обоими рогами.

– А не брешешь?

– Что ж тебе, побожиться? Ты-то драпанула от них, как от чертей, а мне сверху хорошо было видно.

– А выл кто же?

– Это у тебя в башке со страху завывло. А мычали бычки – твоей телке, окликали ее. Готовься, мать, скоро выдавать девку будешь. Хочешь свахой пойду?

Неясно было, поверила Агафья словам Акулины Ивановны или нет, но постепенно стала успокаиваться, хотя и отнеслась к словам соседки с недоверием, особенно о телячьем вое.

В этот вечер она закрылась на все запоры надежнее обычного и сразу же улеглась на кровать, но ей не спалось. Она еще раза два вставала и проверяла засовы и корыта... Хотелось пить, но выйти в землянку за водой она не решилась. Долго и трудно засыпала... Мелькали тени перед глазами,плыли круги, звуки неясные слышались...

Разбудил ее непонятный шорох на крыше, что-то загудело. Или показалось спросонья? Слышно стало, как застучало сердце. Она снова закрыла глаза, и тут раздался душераздирающий вопль, будто что-то живое наизнанку выворачивали. Агафья прижалась к спинке кровати, закрылась подушками и была чуть жива от страха. Вопль повторился, но уже несколько глуше. Звуки слышались со стороны печки. Затем что-то зафыркало и застонало. «Господи! Да это что же такое! – пролепетала Агафья. – Домовой?» Она была верующая, хотя не из тех, кто безоговорочно верит и в бога, и в черта. Но сейчас она была готова поверить всему, даже тому, что в доме поселилась нечистая сила.

Агафья засветила керосиновую лампу. От света запрыгали тени. В печи фыркнуло и выло уже непрерывно, что-то в ней карабкалось вверх и срывалось. Поглядев на икону и на кочергу, Агафья, после некоторого колебания, выбрала кочергу и подошла к печи. Открыла дверцу короба и отскочила, но оттуда никто не вылез. Тогда она сунула туда кочергу и пошарила ею. Пусто. Вынула задвижку из трубы – внутри что-то ухнуло вниз. Дверца топки открылась, и оттуда вылетел мохнатый ком. Он заметался по хате. Агафья, уронив кочергу на ногу, с ужасом ждала нападения, но «тот», сам обезумев от страха, сделал несколько прыжков и полез на стену, дико заорав по-кошачьи. И по его голосу Агафья опознала, наконец-то, кота.

Она кинулась в сени, открыла настежь все двери, и кот пулей вылетел из избы. Тут и все страхи у Агафьи угасли. «И впрямь, страшнее кошки зверя нет», – подумала она.

Пошла в землянку и с удовольствием выпила там две кружки свежей колодезной воды. А потом долго сидела на завалинке, слушала стрекотанье сверчков, вздыхала о чем-то и погружалась в воспоминания. Сна ей уже не вернуть было в эту ночь.

\*\*\*

У ребят же события этой ночи разворачивались по плану «Мшение». Когда они зашли во двор, то застали Акулину Ивановну в доме Агафьи. Как только она ушла, Агафья сразу же загремела изнутри запорами и тазами. Им показалось, что прошла целая вечность, пока в доме все стихло.

Гришка крепко держал в руках большого бездомного кота Анатолия, хотя тот и не думал вырываться. Это был старый и смирный кот мельничихи, но он страдал боязнью замкнутого пространства и очень не любил, когда его запирали одного в избе. Он начинал метаться по всему дому и истошно орать, просясь на волю. Видимо, поэтому мельничиха, уезжая в станицу, оставляла его за себя на мельнице. Кот, понятно, мельницей занимался мало, вел прелестный дикий образ жизни, промышлял мышами, рыбой, птицей и чем бог пошлет. Как Гекльберри Финн. И, как Гек, был даже рад, что лишился опеки.

Ребята по погребу забрались на камышовую крышу дома. Гришка поскользнулся и чуть не загудел вниз. Подползли к трубе. Под передние лапы кота поддели веревку и, держа ее за оба конца, осторожно опустили извивающегося Анатолия в трубу. (Надо заметить, что кот, хоть извивался и дергался, но молчал). Затем выдернули веревку и заглянули туда. В трубе завывало. Друзья кубарем скатились с крыши и улепетнули. Гришка, падая, поранил себе плечо, а Димкину руку еще на крыше поцарапал задней лапой Анатолий.

Сорвав с яблони листья, мальчишки плюнули на них и пришлепнули к ранам. После чего залезли к Линевым в сад и до отвала наелись редкого сорта абрикосов, крупных и ароматных, с медовым привкусом.

\*\*\*

А в доме Косовых царило беспокойство: Димки не было дома. Вечная женственность – вечный источник любого беспокойства. Акулина Ивановна рассказала о своих опасениях мужу: – Вот паршивец, не иначе как это он с Гришкой был. Кому же еще! Хорошо, Агафью успокоила малость. Тряслась, бедняга, как осиновый лист.

Дед засмеялся.

– Тебе только попогокать! – возмутилась Акулина Ивановна.

– Не плакать же, мать. Вечно ты на всех страху понагонишь! Что вы, женщины, за создания такие! – в сердцах сказал Василий Федорович и вышел покурить перед сном.

Однако уже и спать пора, а внука все не было. Обычно Акулина Ивановна не очень беспокоилась, если Димка не являлся к назначенному часу: собственно, никто ему такого часа и не назначал – куда он денется-то? Но сегодня бабке не терпелось провести дознание. Еще час прошел. Уж и глаза слипались, валил сон...

– Дед, а, дед!

– Что? Что такое? – встрепенулся дед.

– Внука нет. А ты дрыхнешь!

– О, господи! Да угомонись ты!

Ну, тут бабка и выдала все, что она думает по поводу мужского рода вообще и по поводу деда и внука в частности. Как общие, так и частные характеристики содержали полный перечень отрицательных черт, свойственных человеку и человечеству. Картина получилась безрадостная. Дед, молчком проклиная бабью суету, вышел из избы, прошелся по двору, вокруг дома, громко, чтобы слышала бабка, позвал внука, но тот, естественно, не отозвался. Шумно дыша, лизнул дедову руку Прут. «Ты мой славный!» – потрепал дед ему загривок. Всколыхнулись на секунду-другую куры в сарае, промычал теленок. И снова стало тихо, только сверчки пели свою нескончаемую песню и, кажется, заполняли ею все вокруг от земли до неба, от ада до рая.

Бабка пошла в летнюю кухню за трофейным трехцветным фонарем «Даймоном».

В это время в избу и прошмыгнул Димка. Он не заметил в темноте дедушку.

«Наконец-то», – успокоился, больше за свою старуху, Василий Федорович. Вернулась бабка с фонарем в руках.

– Далеко собралась? – спросил дед.

– К реке надо сходить... Или за мельницу? – сказала Акулина Ивановна в раздумье.

– А может, он уже спит давно?

Бабка за долгую совместную жизнь с дедом научилась в его риторических вопросах сразу же находить и ответ. Она зашла в избу. На шубе сладко посапывал Димка. Акулина Ивановна нагнулась над ним.

– А ну, вставай! – потрепала она его за плечо. Димка засопел громче. – Вставай, я кому говорю!

Димка приоткрыл один глаз и, ненатурально широко зевая, спросил:

– Ну чего? Уже утро, что ли?

– Нет, ты погляди на него! – бабка вытряхнула внука из шубы. Тот, разумеется, не успел раздеться. – Дед, а, дед, иди-ка сюда! Тут у человека утро уже настало! Что же это вы, ироды, над Агафьей измываетесь? Ее же чуть инфаркт не хватил.

Димка был ошарашен и никак не мог взять в толк, откуда бабушке известно про кота, про первые свои проделки он и не подумал.

– Ничего мы не измываемся... – промямлил он на всякий случай.

Бабка вышла в чулан и принесла арбузную маску, которую подобрала на месте происшествия.

– А это что?

Дед, глядя на маску, развеселился: ему было что вспомнить аналогичное из своего детства, но чтобы не снижать планку воспитательной работы, он вышел. Покурил, ухмыляясь сам себе, и вернувшись в хату, обратился к насупившемуся Димке:

– Улика, брат, неопровержимая. Давай все выкладывай, – и подмигнул бабке, мол, вот он я, воспитательная твоя подмога.

А у Димки и без дознания на душе скребли кошки. Только что с Гришкой они удачно завершили операцию «Мщение», но ни радости, ни удовлетворения от этого мальчик не испытывал.

– Ну, так что, будем говорить, грехи распутывать, или ляжем спать? – спросил дед Димку, ласково взглянув на кровать. – А то ведь поздно уже.

– Ничего не поздно, – решительно заявила бабка. – Рановато хулиганить начал. А завтра он пойдет и убьет кого-нибудь, вот тогда будет поздно!

Димка было и стыдно, и горько, и мучила мысль, откуда они знают про Агафью и что именно знают, а еще этот кот, если и про него узнают, тогда труба. И как объяснить старикам, почему они так поступили?

– Не люблю я ее, – глухо сказал он.

– Не любишь? – съязвил дед. – Она тебя зато любит.

– Ага, любит она его! – не поняла иронии бабка. – Как же! Ее любовь сперва заслужить надо. Тоже мне: от горшка два вершка, а туда же – не люблю!

– Да, Димитрий, не мужицкий это поступок, не мужицкий, – дед покачал головой, на этот раз вроде как не шутя, и опять вышел курить на крыльцо. Похоже, лечь удастся не скоро.

– Бабушка, я не хотел... Ну, ба...

Акулина Ивановна чуть-чуть смягчилась:

– Ну что «ба...», что «ба...»? Разве дело – пугать старуху, и без того запуганную? Она в войну бойцов наших от немцев прятала. Тут лагеря были для пленных, пленные оттуда иногда убегали и пробирались к линии фронта по реке, по ярам да балкам. А самая прямая дорога шла через наш хутор. Тут шоссейных дорог нет, и этот путь был для них менее опасным. Шли одиночки, по два, по три человека, бывали и большие группы. Это уж как побег удавался. И

все заходили к ней, будто их специально кто направлял. Я тогда еще подумала, это точно – их Господь направляет, а ее – хранит. Она всех принимала. Кормила, чем могла, обстирывала, в летнице устраивала им баню, а их обноски прожаривала от вшей в печи. А какая лишняя одежда была, так ту она уж давно всю раздала.

Димка притих, но и, странно, ему стало как-то светлее в мыслях, точно он Агафье не пакости устраивал, а оказал тимуровскую помощь. Возвратился с крыльца дед и вставил:

– Да, в списках у немца она первая была. Это точно! Хорошо, танки наши прорвались. Страху она тогда во как натерпелась. Э-эх, герой!

Сна не было ни в одном глазу. Бабушка еще долго рассказывала о детстве бабки Агафьи:

– Агафье слез много в жизни перепало. Судьба, видно, такая: кому попало мыло в глаз, тот его и промывает. Да и вообще, половина мира плачет, а половина скачет...

## Воспоминание 9. Немного о Гане

– Н-да... – задумался Рассказчик. – Димка тогда даже не подозревал, как страшно близок он был к войне. Чуть-чуть, и он мог ее увидеть своими глазами. Расскажу-ка я тебе, пожалуй, о Гане. Что смотришь так? Думаешь, я тебе о Госатомнадзоре буду говорить? Нет, Агафью в детстве Ганей звали. ГАНа тогда не было и быть не могло...

\*\*\*

Бабушка рассказала Димке, что Гане с раннего детства испуги сыпались.

Лет шести-семи заболела она малярией, врачи посоветовали переменить место жительства, и родители привезли ее в хутор к бабке Анне Семеновне, царствие ей небесное. Колготная бабка была, но добрая. Очень любила внучку и принялась сама за ее лечение народными средствами. Это лекарств никогда не хватало, а народных средств – пруд пруди. Чего только она не перепробовала: и травы, и наговорные молитвы, давала пить керосин по ложке перед приступом, утреннюю мочу, но приступы изнуряли и без того слабенькое тельце, девочка худела и бледнела с каждым днем. Осталось у бабки в арсенале испытанных средств одно – испуг. Тогда верили, что от малярии вернее всего помогает испуг. Вообще-то испуг от всего помогает, даже от испуга. Но как это сделать, не повредив ребенку? Анна Семеновна долго размышляла и остановилась на реке. В ледоход она позвала Ганю посмотреть, как плывут льдины, а с ними все, что захватывала река, – деревья, кусты, камыш, лодки, бочки, домашняя утварь... Выбрала покруче яр, вода высоко поднялась. Место было глубокое. Девочку поставила ближе к берегу, а сама сзади нее встала и начала весело рассказывать о разных случаях во время половодья. Увидев большую льдину на середине реки, она вдруг закричала: «Смотри, смотри – какая крыга!» – и столкнула Ганю в воду, а сама вслед за ней прыгнула и выловила ее из воды. Вытащив на берег, передела в сухую одежду, растерла, стала успокаивать и объяснять, почему она так поступила, но девочка как-то странно смотрела на нее и, казалось, ничего не понимала. Так с тех пор и застыла в ее взгляде эта странность, словно ожидала она от всех, даже самых близких, подвоха. Никогда не обижал собаку, которая любит тебя? Вот именно такой у Гани взгляд был, как у обиженной собаки. Переболела после купания воспалением легких, а малярия изводила ее лет до восемнадцати. Когда она пошла в школу, то к бабке приезжала на лето. Как ты. Очень любила читать, особенно Гоголя. И приключилась с ней весьма странная история.

Было ей тогда лет десять-одиннадцать. Сад Анны Семеновны был у реки, километрах в двух от хутора. Коров рано доили, чтобы по холодку успеть накормить их. Подоив корову и согнав ее к реке на стойло, Анна Семеновна еще во дворе начинала побудку: «Тур-тур-тур! Встаем-поднимаемся, солнышко показалось!» Разбудив внучку прибауткой: «Раньше встанешь – позже ляжешь», – она посылала ее сторожить сад: «Беги, Ганнушка, не задерживайся в хуторе, одна нога тут, другая – там». В саду дел было много, и Ганя наравне с бабкой трудилась.

Однажды Анна Семеновна по неотложным делам ушла на хутор в подвечерки, а Гане наказала прийти к пригону телят и загнать своего телка на баз. Намаявшись с мотыгой на прополке, Ганя уснула в будке. Сколько она спала, когда встала, как по доске перешла глубокий ров, огораживающий сад, – ничего не помнит. Очнулась она на дороге, уже пробежав половину пути домой, у александровского сада. Сад тянулся вдоль берега реки, заросшего густым и высоким камышом, между старых деревьев с сомкнутой кроной. Берег казался темным, непролазным и страшным. Красноватые блики от заходящего солнца придавали этому месту зловещий вид. Из глубины зарослей Ганя слышала жуткие звуки труб, вроде охотничьих рогов, дикие крики, визг и хохот, точно там нечистая сила справляла шабаш. Когда в спящем сознании ребенка возникли эти мысли, она окончательно проснулась, но звуки не исчезли, а стали еще явственней, и Ганя продолжала их слышать – все громче и громче. Потрясенная испугом,

девочка побежала на пределе сил своих, осматриваясь вокруг, ища защиты... Но луг был пуст. Никого уже не было. Все ушли на хутор. И была вокруг страшная тишина, в которой время от времени раздавались нечеловеческие крики.

Надеясь, что хоть кто-нибудь идет с дальних левад, она беспомощно оглянулась и – замерла, пораженная. Волосы поднялись на голове, на спину льдина легла, ноги стали ватными... всю жизнь она удивляется, как тогда не упала в обморок, не умерла от страха на месте. И если крики она могла потом объяснить – испугом и тем, что это вроде как «кричали» ее собственные мысли, но то, что она увидела, увидела воочию, не поддавалось никакому разумному объяснению. Она надеялась увидеть на дороге запоздавших хуторян, а увидела в нескольких метрах от себя двух чудищ: они походили на огромных верблюдов, высокий – он, пониже – она, с оскаленными мордами, злыми усмехающимися глазами, их желтые огромные зубы выпирали клювом вперед, голова и ноги – верблюжьи, а грива, хвост и туловище – львиные. Огромные ступни ног раздвигались, касаясь земли, и одной ногой они могли раздавить ее как комара. И бежали они бесшумно и легко, как тени.

Дикий обморочный страх рванул ее вперед, и она уже летела, а не бежала, ни о чем не думая, не надеясь на спасение, ей только хотелось оттянуть свой конец, оторваться от чудовищ еще хотя бы на метр, быть от них подальше. Про крики она забыла, или они пропали сами собой. Она стала чаще оглядываться, прикидывая расстояние, но оно ни на сантиметр не изменялось. А тут еще под ногами заскрипел песок. На мгновение у нее мелькнула даже мысль, что она спит, но споткнулась и едва не забурилась в песок носом. Чудища же не меняли темпа и не отставали, как бы она ни убистряла бег. Они словно проверяли ее на выносливость. Даже у крайнего двора они еще были на том же расстоянии. Добежав до камплички (так называли в тех местах часовенку) у развилки дорог, она обернулась, но никого уже не увидела. Только шорох за спиной, как будто кто высыпал из тапка набившийся песок. Но никого не было сзади, и от этого ей не стало легче.

Обессиленная, она влетела в летницу к бабке Матрене и упала без сознания. Матрена, перепуганная насмерть видом и состоянием девочки, вылила на нее ведро воды, стащила мокрое платьишко и надела его задом наперед, причитая молитву и ругая Анну Семеновну, что оставила внучку одну в саду. Очнулась Ганя не раньше как через час, лепетала что-то непонятно жуткое, показывая на дорогу: «Там, там...» Матрена отвела ее к бабке и отругала ту уже в глаза.

Не прошло бесследно это для Агафьи. Страх перед всем непонятным закрепился и преследует ее всю жизнь. Особенно, когда солнце начинает садиться и, не дай бог, шорох раздается, точно песок сыплется на землю...

– Да выдумала она все это. Не может быть такого, – сказал Димка, разрешив таким образом на какое-то время свои сомнения в реальности нереального параллельного мира.

– Быть-то этого, может, и не может, а вот она видела это своими глазами. Для нее это была, самая настоящая была.

\*\*\*

Димка спал плохо. Чуть забрезжил рассвет, поднялся и пошел будить Гришку. Было свежо, и Димка дрожал от возбуждения и утренней прохлады. Растормошив Гришку, он рассказал ему все. Тот спросонья только пялил глаза и чесался, но поняв наконец, о чем речь, задумался. Димка тоже забрался к нему под овчинный тулуп, согреться.

– Да-а, – сказал Гришка, – нехорошо получилось. Твоя бабка, небось, только меня и винит.

– Да нет, – чуть смущенно сказал Димка, – при чем тут ты?

– Да при том, что ты до этого не додумался бы.

– Я? – заершился Димка. – Да кто до этого додумался-то?

– Ну, она так думает, что я во всем виноват.

Немного помолчав, Димка высказал мучившую его догадку:

– Да... Если человек в жизни и мухи не обидел, то и собаку он не отравит. Значит, Дюк заправду взбесился сам.

Согревшись под овчиной, ребята незаметно уснули.

Проснулись от яркого света в окнах. Солнце было уже высоко. Решили зайти к Агафье. «Как-то она там? Жива ли?» Димка расхрабрился и вошел в избу. Бабка Агафья строчила на допотопной, но красивой швейной машинке «Зингер».

– Здравствуйте, бабушка Агафья, – вежливо сказал мальчик.

– Здравствуй, здравствуй, – улыбнулась Агафья. – Тебя бабушка за чем-нибудь прислала?

– Нет, я сам... У вас можно нарыть червей на базу? У нас почему-то все черви пропали.

А на колхозный баз идти неохота.

– Отчего ж нельзя? Рой.

– Спасибо! – крикнул мальчик, выскакивая.

– Ну как, жива? – кинулся к нему Гришка.

– Порядок! Жива. Даже червей позволила нарыть у себя на базу...

\*\*\*

– Вот так и появились первые черви. Черви сомнений. Хорошо, когда они появляются в детстве, – сказал Рассказчик, – тогда на них в жизни, если повезет, можно поймать приличную рыбу. Даже золотую.

– А как дед дожил свой век? – спросил я.

– Дед? – Рассказчик внимательно смотрел на меня, как бы ожидая моих объяснений.

– Да, дед. Меня, видишь ли, всегда интересовали годы детства и последние годы жизни мужчин. Мужчины перед смертью почему-то лучше выглядят, чем женщины.

– Уходу за ними больше – вот и выглядят лучше. Да и бездельники все мужики. А средние годы тебя не интересуют?

– А они разве есть?

– История средних веков есть, – уклончиво ответил Рассказчик. – Ладно, о деде. Но совсем немного. Хотя нет, сперва надо о маленьких. Еще кое-что о Димке. Так, один эпизод.

## Воспоминание 10. Парное молоко

– Так ты чей? – повторил строгий мужчина, глядя на Димку поверх очков. Мальчик молчал. Сердитый дядя был очень похож на колхозного мерина Митьку, вылитый старший брат – у Димки только это крутилось в голове.

– Ну, немой, что ли? – подбадривала Димку соседка. – Скажи, что Косовым внуком приходишься. Ну... Батюшки, отродясь таких робких в их роду не бывало. Василия Федоровича это внук. Димой звать.

– А чего мне говорить, когда ты уже все сказала, – разозлился Димка. Он никак не мог понять, чего это все вдруг прицепились к нему. Налетели, как осы. Ели, ели свои арбузы – и вот, нате-здасьте, за него взялись. Когда он ест арбуз, ему не до вопросов, и пока пузо у него не станет само как арбуз, он глух ко всему на свете, как Гришкина бабка. Главное, едят арбузы лежа на боку. Патриции! Арбузы надо есть стоя! Во-первых, в знак уважения перед ними, а, во-вторых, больше влезет. Окружившие его хуторяне перемигивались и улыбались, видя растерянность мальчишки. «Как козы уставились!» – думал Димка.

– Бабоньки, подъем! Перекусили – и хватит. Ярило с горки покатило!

Все с кряхтением стали подниматься, потягиваться, и только через полчаса на бахче вновь запестрели косынки и платья женщин, поползли коричневые тела мужиков в вылинявших галифе.

– Ну что, Димка, хватай дыньку. Бабке Куле оттащи. Скажешь, от дедка Мазая, что возил тех заев. Еще держи. Не урони! Сахар, а не дыни. С коркой проглотишь. Донесешь?

– Донесу. Спасибо, дедушка.

Димка потоптался возле шалаша, пока сторож готовил себе полдник: он достал небольшую зеленоватую бутылку, головка которой была залита сургучом, отбил тяжелой рукоятью ножа сургуч, протер горлышко толстым прокуренным пальцем, поставил бутылку между ног и крошил в раскаленную на солнце миску четвертинку серого хлеба, посолил ее, очистил и крошил туда же головку репчатого лука. Затем вылил из бутылки в миску водку, посмотрел на бутылку сбоку и снизу – не осталось ли на дне нескольких драгоценных капель, достал из нагрудного кармана столовую ложку, облизал ее, помешал свое блюдо и стал покрякивая хлебать тюрю. Тщательно выбрал все крошки, оставшиеся по краям миски, опрокинул миску в ложку, но ничего не слилось. С сожалением поглядел на опустевшую посудину, облизал на три раза ложку, засунул ее в карман, вытер губы тыльной стороной ладони, отхватил от нарезанной дыни ломоть и несколько раз шумно вгрызся в него, оставив лишь тонюсенькую кожуру. «Ну, иди. А я спать», – сказал он Димке и полез в свой прохладный шалаш, а Димка с дынями под мышками зашагал по сухой белой дороге.

Дорога долго и однообразно тянулась вдоль поросшего ивняком, вербами и камышами топкого и склизкого берега реки, потом испуганно прынула вправо, нырнула в глубокую балку, густые заросли орешника, выползла на простор и закулила между холмами, то удаляясь, то возвращаясь опять к реке. Навстречу прыгали две полуторки, оставляя за собой длинные шлейфы пыли. Эти машины возили с бахчи арбузы.

Над холмами ветер тащил округлые, золотистые, как на бабушкиных иконах, облака, и казалось – вот-вот над степью, как над богом, вспыхнет нимб и пронизет мягкие невесомые кучи, озарит их изнутри таинственный иконный свет.

Степь точно ждала этого озарения, притаилась, и ее нетерпение выдавал душный воздух, который, казалось, напрягается из последних сил, разрывая невидимый мешок, заключающий его; тяжелое дыхание налитой пшеницы, на которую выкатили косилки; да нервная рябь то там, то тут на гладком теле воды; да старинный неумолчный концерт кузнечиков и жаворонков;

и тонкий, едва сдерживающий себя от того, чтобы щедро не растечься, запах приближающейся осени, которую немилосердное солнце подпалило уже с боков.

Вот и последний перевал, и внизу показался хутор, и опоясывающая его, словно серебряным пояском, речушка. Каменная гребля, перегораживающая речку, сверху похожа на дощечку, перекинутую через ручеек, а притулившиеся сбоку электростанция и мельница напоминают два кубика, белый и красный. На левом берегу зеленеют сады, и в них, как кувшинки в стоячей воде, редко плавают белые курени с соломенными желтыми крышами, прячутся серые и беленые землянки, погреба, кухни, сараи, курятники, скотные базы... Из труб землянок и кухонь вьется дымок, будто они курят папиросы. На правом берегу собрана почти вся деревня. Садов тут меньше, больше дворов, огородов, речка как раз и огибает эту часть хутора. Вон уже и Димкин дом виден. А за хутором сразу же растет вверх Шпиль – высокий пологий холм, через который ходят в магазин и кино на станицу. Как спички, торчат телеграфные столбы, спички черные – говорят, из самой Африки. Их в этом месте очень много, хотя никто никому не звонит, да и телефонов-то ни у кого нет. И свет все еще дают по праздникам, и тот тусклый, как тут не стукнуться лбом о дверь или стенку, на него даже бабочки не летят.

День клонился к вечеру. Жара спала, ветер принес запах речной тины и прелой соломы. Дымка уползла за горизонт и вытолкнула сизое облачко, уютное и компактное, будто клубочком свернулся пушистый зверек. Вдруг Димка под густым кустом шиповника увидел серый клубок, очень похожий на то облачко. Сначала он подумал, что это тряпка, но когда подошел ближе, тряпка обернулась серым зайцем. Димка замер. Заяц разомлел от жары и безмятежно дрых, как в своей избушке, вздрагивали лишь во сне уши. Серый был большущий, должно быть, матерый.

Мальчик тихонько положил дыни на землю и, как бабушкин архангел, неслышно скользнул к серому с тылу. Заяц потерял всякую бдительность – подходи и в карман клади. Слышно было, как он хлопает носом, совсем как Гришка. Подкравшись еще ближе, Димка прыгнул на зайца. Мягкий и приятный, в первый момент, на ощупь, комок тут же превратился в комок стальных пружин. Косой дико заверещал, уши у него взлетели, своими задними лапами, как ухватом, он уперся Димке в живот, а передними стал пребольно колотить его по правому плечу. В первый миг Димка опешил: ему показалось, что косой смеется над ним, но через секунду он взвыл от боли и выпустил серого. Тот прыгнул в сторону и застыл. Глаза шальные, весь трясется, как будильник. Наконец осмотрелся и покатился, как перекаати-поле, без оглядки под гору, кувыркком – все меньше, меньше, пока не исчез в балке.

Димка осмотрел себя: на плече слегка содрана кожа и, похоже, будет синяк – не беда, заживет, а вот на животе из трех царапин сочится кровь. Димка согнулся и попробовал языком слизать ее. Этот финт ему не удался. Послунявив палец, он приложил его по очереди ко всем царапинам. Обидно, чего там, такого зайца упустил! То-то Гришка, да и Полька позавидовали бы, а дедушка похвалил... А так... И Димка, тяжело вздохнув, подобрал дыни и поплелся напрямик к дому, не разбирая дороги. Благо, идти было под гору.

– Это где ж тебя угораздило так, а, князь Потемкин? – всплеснула руками бабушка. – Опять в сад залез! Ну, смотри, соли влепят – покиснешь в речке. Мать придет – так и знай, все доложу!

– Пожалуйста, – буркнул Димка.

Бабка захохла, захлопала по бедрам руками, как петух, и долго жаловалась непонятно кому на этого неслуха: «Нет, ты только погляди на него! Погляди! Это что же такое, а? Совсем отбилась от рук! Да вразуми же его! Наставь на путь истинный!»

Димка догадался, что это она причитает своему господу богу.

Господь и на этот раз остался безучастен к бабкиным стенаниям, и Димка кинул дыни на крыльцо (пер столько!) и убежал к Пруту. Тот лизнул его горячим языком в нос и губы,

сел перед ним и часто-часто задышал, стучая упругим хвостом по земле. Мальчик погладил собаку и сказал:

– Никто нас с тобой, Прут, не любит. Ну, и не надо! Мы и так проживем – не помрем. Узнают тогда! Да не пыли ты!

Прут еще усерднее замолотил хвостом о землю. Чуюл пес, что его сейчас отвяжут.

Обидно! Дыни принес. Только хотел похвастать, что чуть не поймал во-о-от такого зайца. Бабушку хотел порадовать – а все шиворот-навыворот вышло. Всю жизнь так! Вот дед никогда не ругает. Мужчина. Димка вздохнул, отвязал пса: «Айда, Прут, гулять!» Прут, ошалев от свободы, мотался по двору, грядкам, танцевал вокруг бабушки, как джигит с кинжалом во рту, пока бабка не прогнала его со двора хворостиной.

\*\*\*

Димка взял пол-литровую банку и пошел к Линевым за парным молоком. У Косовых корова заболела бруцеллезом, дедушка увел ее куда-то, и теперь молока у них не было.

К Линевым Димка шел с охотой – он любил парное молоко с краюхой хлеба, и ему нравилась Польшка Линева, наивная и добрая девчонка. Польшка была с ним всегда добрая, даже когда болела, и Димке с ней было хорошо. Особенно, когда день выдавался нехорошим, как сегодня. Утром бабушка отлупила почем зря. Подумаешь, вырвал из грядки несколько головок лука и бросил их в яр за сараем. Так она сама перед этим говорила, что плохо, когда лук растет густо, луковицы друг друга жмут, и оттого вырастают мелкие и курживые. И сама в это время на другой грядке прореживала его и выкидывала что-то в яр. А тут сразу же заметила – он думал ей сюрприз сделать – что не хватает несколько луковок, разыскала их все внизу, подобрала ведь до последней! – и всей охапкой этой отхлестала его по спине и чуть ниже. «Ты что же, паршивец, натворил! Ведь ты мне семенной лук сгубил!»

– Все. Пальцем о палец не стукну, помогать ей делать что-нибудь, – успокоил себя мальчик, – все равно не угодишь. Расстройство одно.

Вся семья Линевых – и дед Николай, и бабка Пелагея, и дядя Ваня, и тетя Зина, и Польшка – сидели за большим столом под неуродившей яблоней и хлебали деревянными ложками густую лапшу. У Польшки рот был маленький, она с трудом помещала ложку в рот и потом с таким же трудом вынимала ее обратно. Димка вспомнил, что он сегодня, кроме арбузов на бахче, ничего не ел. И хотя он не любил есть густую лапшу деревянной ложкой, сейчас можно было бы поесть и ею. Он сел возле землянки на плоский, еще не остывший камень и позвал котенка Мурзика. Тот прыгнул ему на колени. Димка стал гладить его и думать о том, почему котенок поет от прикосновения его руки. Линевы кончили вечерять.

– Есть хочешь? – спросила бабка Пелагея.

Димка глотнул слюну и замотал головой: «Не-а».

– Давай банку, – сказала тетя Зина, накрыла банку марлей. – Держи, – и налила из ведра теплого еще молока. – Хлеб будешь? – спросила она.

Мальчик молчал и отводил глаза от круглой хлебины.

– Бери, – протянула ему краюху Польшкина мать. Затем она убрала грязную посуду со стола, смахнула крошки, веником подмела утоптанную землю под яблоней.

Хорошо было молоко! Хороша была краюха! Димка пальцем снял с ободка банки сливки и облизал палец. Заглянул в банку. Пусто.

– На рыбалку завтра с нами пойдешь? – спросил дядя Иван.

– Пойду.

– Ну, тогда иди спать. Завтра в пять часов пойдем за Куницынский брод, на отмель, сазана брать. Смотри, не проспай.

\*\*\*

Назавтра, чуть свет все Линевы, даже бабка Пелагея – ей в обязанность было вменено носить по берегу одежду «рыбалок», и Димка двинулись гуртом вниз по реке на Куницын-

ский брод. Несли с собой бредень (очко в два пальца), большие двенадцатилитровые ведра «цыбарки», батоги. Шли целый час. Потом еще битый час вспоминали, откуда лучше начинать гнать рыбу. Потом разделись и подкрепились пирожками с луком и яйцами. Дядя Иван и дед Николай опрокинули по маленькому стаканчику и закусили хрустящей редиской. Солнце уже поднялось на четверть неба и стало тепло. Дед и отец Линевы в майках, трусах и резиновых сапогах залезли в воду. Бабка Пелагея держала в охапке штаны и рубашки.

– Осторожно, ракушки! – заволновалась Зинаида.

– А а! – отмахнулся дядя Иван.

– Хорошо! – просипел дед Николай, окунувшись по шею. Его большая лысая голова качалась в воде, как желтая тыква.

– Ладно, ладно, – поторопил его дядя Иван, – давай, разматывай бредень. Да вон там! Тыфу ты... Ослеп, что ли? Вот! Мы, значит, пойдем снизу вверх, а вы батожите сверху, где вон тот куст, и идите нам навстречу. Вон те корчаги особливо и яму под ними. Сазаны там. Ты, Зинаида, вон там батогом с воды туркай, а ты, Димитрий, с берега дубась об воду. Ты, Полина, ори, как сможешь. И, главное, погромче, погромче, чтоб чертям тошно стало.

Речушка вскипела и полезла из берегов, как уха из котелка, причем скудная уха. В бредень попала всякая мелюзга: красноперки, голавлики, окуньки, один щуренок, но никаких сазанов не было и в помине.

– Что за чертовщина! – бормотал дядя Иван после продолжительных поисков крупной рыбы. – Да куда ж она подевалась вся! Собрание, что ли, у них где? – он весь покрылся пупырышками, как огурец, и вылез на берег, лязгая зубами. Бредень валялся возле воды. Дед Николай давно уже загорал на песке, усыпанном ракушками, и с интересом наблюдал, как Иван бестолково хлопает по воде взад-вперед.

– Ты вон там еще не смотрел, – подсказал он.

– Ты бы мне, батя, лучше в стакан плесканул, чем советовать!

– Дядь Вань! Побейте там воду! Гоните! Гоните! Сюда! Они здесь! Вниз их не пускайте!

Димка с берега на самом Куницынском броде, выше, чем они рыбачили, заметил на быстрине сазанов. Он прыгнул в воду, было мелко, ниже колена, а местами по щиколотку, – хватал сазанов и выбрасывал их на берег. Те яростно бились на песке, словно чувствовали уже под собой сковородку. Всех Линевых как ветром сдуло в воду. Дед Николай в спешке зацепился трусами за палку, поцарапался и разорвал трусы, но стгоряча даже не почувствовал этого и блестел белым задом. Рыбаки забили по воде руками, ногами, батогами, заорали, заухали. Димка выкинул на берег уже семь сазанов. Они были жирные, сильные и с локоть длины. Хоть картину с них пиши.

Бабка Пелагея обронила одежду своих мужчин, задрала юбку до горла и, в розовых панталонах, чулках на резинках и прямо в кожаных тапочках, отнюдь не со старческим, страстным воплем врзалась в воду рядом с Димкой, да так, что тот испуганно шархнул в сторону. Бабка соколицей плашмя низверглась на бедного сазана, приглянувшегося ей, подняв миллион брызг. Она подмяла под себя рыбешку, вцепилась ей в голову, подхватила за жабры и торжествующе вынесла на берег. Сазанчик даже не трепыхался – видно, хватил беднягу с перепугу кондрашка. Не для рыб бабий темперамент!

– Ай да бабка! Ай да Пелагея! Тряхнула стариной! – запричитали все. – Такого сазана! Ты посмотри. На полпуда потянет! И ты, Димка, молодцом! Не растерялся. Ай да Пелагея!

Бабка ходила гоголем и поглядывала на речку, как на свою кастрюлю. Дядя Иван собрал весь улов в две цыбарки, отбросил в сторону мелюзгу. Смотал бредень, выбрав из него веточки и шамару.

– Ну, будя. За это надо и пропустить. Зин, там еще малехо должно остаться. Давай с нами. И ты, мать! За тебя! Хороший улов. И на сковородку, и на щербицу хватит. Дим! А ты-то, может, возьмешь рыбки себе, а? Возьми. Глянь, сколько мелочи, выкидывать жаль. Пропадет.

Мам, ты ершиков там выбрала? Парочка была, – Иван натягивал штаны, глядя на мальчика. Тот молчал. – Не хочешь. Ну, тогда в воду ее скинуть надо, пока не протухла.

– Это ишшо зачем? – заволновалась старуха. – Я сейчас сумку кожаную принесу. Утям да кошке. Ишь, чего удумал, в речку скинь! А утям? А кошке?

\*\*\*

Вечером Димка за молоком не пошел. Что-то разлюбил он чужое парное молоко. Разлюбил на всю жизнь. И на Польке он не женится. А собирался! Когда через несколько дней к Косовым заглянула Зинаида, она спросила Димку:

– Чего молоко не ходишь пить?

Димка ответил:

– Я на водочку перешел.

Родная бабушка решила, что ослышалась.

## Воспоминание 11. Василий Федорович

В 1959 году не стало Акулины Ивановны. После ее смерти в один год до неузнаваемости состарился Василий Федорович. Продал дом, раздал всю живность, и в день отъезда, стоя посреди пустого двора, почувствовал такую невыразимую тоску, что последние силы его оставили, и он присел на землю возле грядки с любимым турецким табаком и проплакал до вечера.

Перед заходом солнца из станицы приехала дочь Клавдия, погрузила в машину весь нехитрый скарб отца, нажитый им за долгую жизнь и теперь ему совершенно ненужный, самого усадила в кабину и повезла к себе на жительство.

На повороте дороги к станице Василий Федорович в последний раз увидел свой хутор в золотистом закате. Хутор вдруг оказался весь как на ладони и вспыхнул ярким светом, словно пытался осветить старику темную грядущую дорогу. Машина повернула, и хутор исчез для него навсегда.

Внук Петр, сын Клавдии, работал механиком в совхозе под Орлом и в свой отпуск забрал к себе и мать, и деда. Дом в станице был продан, и все пути на родину для Василия Федоровича были закрыты.

\*\*\*

Новое место жительства его не обрадовало: серые бревенчатые дома, с крышами из щепы, глухой лес вместо садов, небо без звезд и не было слышно сверчков. А вода в реке была коричневой и мутной, сильно пахла тиной. На новом месте каждый был занят своим делом, а у Василия Федоровича своего дела не было. По привычке он еще брался плотничать, столярничать, но силы были уже не те... Он уходил на берег реки, садился там на поваленный ствол клена и часами глядел в темную толщу воды, курил трубку, набитую турецким табаком из последних запасов, кашлял и вспоминал свое детство и жизнь на хуторе. Он вспоминал рыбную ловлю, прозрачную воду реки, ее песчаное дно и зарывающихся в песок вьюнов, охоту и своих собак, жену Акулину Ивановну; и чем больше проходило времени с того дня, как он покинул родные места, тем чаще в мыслях он возвращался к ним, пока однажды наконец-то не понял, что его тайные надежды – когда-нибудь снова побывать на хуторе – тщетны и не сбудутся никогда. Это открытие окончательно подкосило здоровье, и он уже ничего не загадывал на будущее, как, впрочем, и перестал вспоминать о прошлом. Собственно, это два конца одной истлевшей веревочки.

Обычно Василий Федорович просыпался рано, но с того дня стал позже вставать и, лежа на кровати, без всяких мыслей смотрел в потолок. На белом потолке сидели мухи, бился длинноногий комар, да в углу притаился такой же длинноногий паук. И хотя в соседней комнате полдня был включен телевизор, старику не хотелось смотреть в мельтешение экрана. Уж очень глупо оно, с высоты его лет, выглядело. Спешить ему было некуда, и незаметно подкравшаяся слабость перешла в болезнь. Стало трудно дышать, из груди с кашлем вырывались мучительные хрипы, и когда болезнь стала причинять Василию Федоровичу страдания, он понял, что избавит его от них только приближающийся конец. И как только подумал он это, так и сделал первый шаг ему навстречу. А когда становилось легче, он вспоминал свое детство, но не конкретно, а как что-то расплывчатое, светлое и радостное, и ему казалось странным, что перед смертью мысли идут не в ногу с жизнью, а в обратную сторону.

\*\*\*

Неожиданно вспомнил себя в трехлетнем возрасте. Увидел своего отца. Сколько в детстве было солнца и света в жизни! Будто сейчас, а не тогда, берет он из ступки пестик, просыпает на деревянный стол соль и говорит: «Сахар». Отец поправляет: «Соль». – «Сахар». Отец протягивает ложечку. Он берет ее в рот, багровеет и морщится. «Ну?» – смеется отец и сразу же уходит как бы в тень. «Сахар!»

«Что я хотел доказать отцу? – думал Василий Федорович. – Всю жизнь мы доказываем что-то друг другу и, уходя из нее, так и не понимаем, зачем мы это делали и кто же из нас был прав». Такие мысли – первые робкие шажки мудрости, и, увы, как правило, они оказываются последними, так как сил на то, чтобы мудро мыслить, уже не остается.

Однажды осенним утром, когда Василий Федорович от слабости не мог подняться с кровати, ему вдруг показалось, что за окном опадает яблоневый цвет и крупные лепестки летят в окно...

До его сознания так и не дошло, что выпал первый снег. Он чувствовал такую слабость, что не мог поднять голову и посмотреть в окно. И тут его мысли наткнулись на самое горькое воспоминание – о поступке, которого он не мог себе простить всю жизнь. Он вспоминал его несколько раз в разные годы, когда ему было плохо. Последний раз – в день, когда ушла Куля. Почему он его вспоминал и почему не мог простить себе?

Слабый бездомный старик присел отдохнуть на завалинку у их двора. Стоял жаркий полдень, а старик был одет по-зимнему: в телогрейке, шапке и валенках. Он с друзьями, босиком и в одних трусах, возвращался с реки. Увидев старика, он закричал: «Гля! Дед Мороз!» – и все громко захохотали. Старик хотел уйти, но никак не мог подняться с завалинки. Его негнущиеся черные пальцы беспомощно хватались за камни стенки. Тряслись ноги, дергалась голова, а слабые выцветшие глаза были наполнены слезами. И столько в них было тоски – и как, и чем измерить ее в чужой душе? А мы смеялись...

И от запоздалого раскаяния Василий Федорович почувствовал в душе просветление и с горечью подумал: «Посмеешься над чужой старостью, собственная старость посмеется над тобой».

Старик закрыл глаза, прислушиваясь к звукам в самом себе, и ему показалось, что он слышит шаги уходящего из него сердца. Он пытался схватить его, но свет стал гаснуть, мелькнуло лицо Гришеньки, сгоревшего в танке, и Василий Федорович подумал: «Вот он, конец света, о котором так часто говорила жена. У каждого он свой».

## Глава 11. Кто быстрее – время или курица

– А теперь из серии «Школьные годы чудесные» несколько штришков к портрету господина Рыцаря Туннельного Полусвета, – продолжил Рассказчик. – Всего несколько штришков, поскольку его занимают годы детства.

\*\*\*

В семь двадцать утра начало трещать, как будто ломали тонкое стекло. Трещало пять минут. Школьная сторожиха Петровна торопливо допила чай и выглянула в окно. Было уже светло. Но еще серовато, с голубизной. Огромная лужа цвета кофе с молоком из школьного буфета, заливавшая вчера весь школьный двор, за ночь потемнела и съжилась. Над ней образовался громадный купол матово-белого хрусткого льда, по которому самозабвенно бродили три пацана. Лед скрипел, хрустел, трещал под ногами, взрывался и с шорохом осыпался. Лед хрипел и кричал: «Караул! Крушат!» – и норовил обдать ненавистные ноги ледяной водой и нанести режущий или колющий удар своим холодным оружием. Петровна крикнула в форточку:

– Вы бросите хулиганить?

– Ну да, тут же и бросили!

– Я кому сказала! Ах, тудить ее, растудить... – Петровна, накинув деревенский пуховый платок, чертыхаясь, выскочила на крыльцо. – Вы что, ироды, не слышите? Я кому говорю! Марш отседова! Ноги промочат, потом будут по партам весь день преть! Кому сказала!

Двое сделали «марш отседова». А третий – ноль внимания, фунт презрения – ходит и стреляет, ходит и стреляет... Нравится ему! Крушитель! Петровна схватила его за руку.

– Тебе что, особого указа надо?

Парнишка неожиданно вырвал руку, но не убежал. Петровна опешила.

– У-у, да ты гордый! Без матери в школу не пушу! – и она схватила наглеца за ухо, думая таким образом привлечь его к более строгой дисциплинарной ответственности. Схватить-то схватила, но тут же и отпустила: не по себе ей стало от режущего, как лед, но горячего взгляда малолетнего преступника. Она легонько подтолкнула его:

– Давай, давай, нашел занятие!

На переменке она узнала, что это был Димка Мурлов, из второго «А», не хулиган, но и не отличник, пацан и пацан. Странно, почему он так вел себя? Ведь совсем другой он был, совсем другой...

\*\*\*

– Далее я пропускаю ряд лет, определенным образом сформировавших его мировоззрение, не потому, что это не интересно, а просто нет времени, – сказал Рассказчик. – Это особенно чувствуется, когда его действительно нет. Да я особо и не верю в то, что время формирует мировоззрение человека. Может быть, оно только проявляет данное свыше понимание мира и его проблем. Как-то в деревне я сидел тихим вечером на скамейке, умиротворенный (может быть, потому, что я был городской житель и сельские заботы не принимал близко к сердцу), а по двору, раздражая меня, носилась, как полоумная, курица. Помню, я подумал тогда: «Время неслось, как курица, или курица неслась, как время?» Не правда ли, хороший вопрос для городских бездельников? Можно затеять целый философический диспут. Кто быстрее? Вот так они и носились по двору, обгоняя друг друга. Но курица, еще сверх того, взяла и снеслась, то есть отлила в совершенную форму зародыш будущего времени, а вот само время не смогло сделать даже такой малости. С тех пор я к проблеме времени, его быстротечности, отношусь спокойно, как к переполюшенной курице, и у меня нет ностальгии по ушедшим годам. Поэтому я их пропускаю без раздумий.

\*\*\*

В седьмом классе Васька, лучший корефан Димки, организовал общество «ЮС» – юных страдальцев. Общество страдало по женщинам. Да, это не страда деревенская. Причина для его организации была, понятно, чисто возрастная: ребята вдруг поняли, что в мире есть женщины, о которых они ровным счетом ничего не знают. Исключая, разумеется, мам, бабушек, взрослых сестер и теток, у кого они были. А как известно, мамы, бабушки, сестры и даже тетки – не женщины, а близкие родственники. Поводом же послужил, как всегда, случай. Дон Жуан и Казанова стали теми, кем стали, только благодаря случаю.

Маленький восьмилетний Жуанито как-то, расшалившись, заскочил в комнату служанки. Анна, служанку звали Анной, сама по разуму была еще дитя и любила все маленькое и игрушечное, и им обоим доставила большое удовольствие игра в «мышку-норушку». Анна вскоре вышла замуж и стала добропорядочной матроной, а Жуанито, познав страсть так рано и поначалу не понимая и не испытывая всей ее остроты, всю жизнь искал острых, как перец, ощущений и побирався по женщинам, как нищий, в поисках несравненной своей Донны Анны.

Сиротку же Казанову, угостив пряниками, затащили в притон две проститутки и, поспорив друг с другом, кто из них окажется более искусным педагогом, взялись обучать юного несмышлениша многочисленным приемам любви, вознаграждая за каждый хорошо усвоенный урок мягким пряником. Этот бедняга потом всю жизнь искал в женщинах того, чего в них не заложил бог: сладости и мягкости мятного пряника. Бедный Джакомо!

Не знаю, стал ли Васька таким же неутомимым искателем любви, как эти два славных самца, но первое знакомство с некоторыми ее прелестями было обнадеживающим. Как-то Васька, уже затемно, возвращался домой с баскетбола через двор студенческого общежития и из чистого любопытства заглянул в приоткрытое окно первого этажа. Окно изнутри было забелено. В комнате горел свет, слышались голоса и неясный шум.

У Васьки тотчас перехватило дыхание и вспотели руки: к нему задом стояла крупная голая женщина и растирала себе спину махровым полотенцем. Комнатка за белым окном оказалась раздевалкой, а сбоку, из душевой, доносились женские голоса. Женщина громко говорила что-то и смеялась. Васька слов не воспринимал, он их даже не слышал. Он остолбенело смотрел на женщину и думал об одном: почему у нее такой огромный, и в то же время такой красивый зад.

Женщина повернулась. Васька в полубморочном состоянии, как при вспышке молнии, успел увидеть ее всю спереди – смесь желтого, розового, белого и черного цветов – и опрометью, не разбирая дороги, помчался прочь от окна. Он бежал и физически ощущал возле губ, глаз, носа теплое ароматное тело. В висках его тяжело тюкало.

На следующий день он прокрался к заветному окну, но оно оказалось закрытым. Два следующих дня не дали ничего нового: не принесли ни напряжения, ни облегчения. На четвертый день он попробовал толкнуть окно. Окно приоткрылось. И прямо над его ухом раздался голос: «Женя! Прикрой окошко. Дует». Окошко закрылось. Женщины о чем-то говорили, потом стало тихо – видимо, все ушли в душ.

Васька толкнул окно. В щелку он увидел, что раздевалка пуста. Минут десять томительного ожидания были вознаграждены с лихвой. Из душа вышли сразу две молодые женщины. Одна говорила другой: «Ему Катька чересчур много позволяет! Я бы на ее месте...»

И тут Васька услышал такое, что мгновенно и навсегда перевернуло его представление о женщине, сформированное в семейном кругу. Это как человеку с севера, знающему о том, что арбузы сахарные, а дыни медовые, оказаться вдруг на бахче под Камышином и съесть за один присест полпуда ароматного чуда природы. Та женщина, которая просила Женю приоткрыть окно, аттестовала неведомую Катьку такими площадными словами, что Васька почувствовал, как краснеет. Женя, тряся грудью, залилась смехом. И странно, на этот раз Васька не чувствовал никакого волнения, руки не потели, мысли не путались, в висок не тюкало, он

лишь с жадным любопытством, как художник, изучал женскую натуру, открытую ему во всей своей прелести и во всей своей тайне. Кончилось это тем, что окошко опять закрыла Женька.

На следующий день Васька посвятил своих закадычных друзей – Славку и Димку – в свою тайну. У тех загорелись глаза, и они с обеда мучались, то и дело глядели на часы и ждали вечера. Темнело одуряюще медленно. Когда зажглись огни, ребята тронулись к наблюдательному пункту. И горели их глаза ожиданием зрелищ, ожиданием утех.

День был жаркий, окно приоткрыто. В душе за весь вечер помылись только бабка с внучкой.

Первое впечатление у новых членов «ЮС» было неопределенно-гнетущее. Васька утешал их и обещал райские наслаждения на завтра.

Назавтра их заметил с балкона здоровенный студент и турнул от окна, пообещав в следующий раз кое-что оторвать им. «А это вот видел?» – крикнули они ему хором и смылись.

Зрелища прекратились. И, как ни странно, именно то обстоятельство, что ребята видели только старуху с девчонкой и не видели ничего такого, что расписывал Васька, так распалило их воображение, что они не могли уснуть две ночи. Димка ворочался, и ему представлялось что-то среднеарифметическое между бабкой и внучкой, и у этого среднеарифметического были такие не математически громадные груди и задница, что он задыхался от волнения. А когда он пытался представить себе остальное, да так, что уже ощущал себя в нем, то вскакивал и бежал в туалет.

Следующее утро принесло свежесть и новость. Васька, оказывается, вчера вечером забрался на липу, что во дворе общаги, и в окне второго этажа увидел, как двое целовались, а парень расстегивал своей подруге кофточку. Потом там, к сожалению, погас свет, но, если приглядеться, многое можно было увидеть и в темноте.

Вечер выдался душный. Где-то за городом ворчала гроза. Парило. Ребята, стараясь не шуметь, забралась на липу. Разместились более-менее удобно, в развилке, и стали шарить глазами по окнам. «Где твое?» – «Вон – темно там».

Окна, одни темные, другие освещенные, не дарили их никакими откровениями. В них все шло своим чередом, была своя жизнь, как в немом кино, только без названия, без титров, без начала и без видимого конца. В «васькином» окне зажегся свет. «Они», – шепнул Васька. Ему было виднее.

Битый час эти двое занимались какой-то бестолковщиной: сидели напротив друг друга, говорили, выходили из комнаты, заходили, тыкались по углам, потом долго пили чай с булками, смеялись... Собственно, наполняли комнату минутами незамысловатого счастья. Потом девушка села на колени к парню и, улыбаясь, взъерошила ему волосы. Слов их не было слышно. Девушка встала, распахнула шире окно. Скинула с себя кофточку и осталась в одном лифчике. Перевесилась через подоконник и сказала: «Душно как!» – и такая она была счастливая и открытая в своем счастье, что Мурлова, как током, пронзила тоска, и он почувствовал себя в этот миг страшно одиноким, и этот миг потом растянулся на всю жизнь.

Сзади к ней подошел парень, обнял ее и стал целовать в шею. А Мурлова взяла досада, что какой-то парень, чужой, не имеющий никакого отношения к ее внутреннему миру, ее счастьем, посмел коснуться ее в такой волшебный миг. Мурлов зажмурился, чтобы не видеть этого.

Васька и Славка затаили дыхание. Польшнула молния и за спиной треснуло небо. Мурлов открыл глаза. Парень подхватил подругу на руки и отнес на кровать. А потом закрыл дверь и погасил свет. И стало в комнате темно, как в чужой душе.

– Пожалуй, я пойду домой, – вздохнул Димка.

– Ничего, – утешал Васька. – При свете молнии все хорошо видно.

При следующем раскате грома Васька сорвался с липы и сломал себе руку. Юсовцы навестили его в больницу, и Димка, видя, что у Васьки основные боли позади и пальцы шевелятся, утешил приятеля:

– Это ничего, раз только руку сломал!..

\*\*\*

– Счастлив тот, кто при свете молнии скажет: вот она наша жизнь, – произнес Рассказчик и на минуту задумался. – Но получается, что время и курица несутся, обгоняя друг друга, а это и есть история... Занудная история. Кстати, о занудстве...

\*\*\*

Если всех зануд построить в колонну и повести на парад, знаменосцем у них был бы Уткин, учитель истории, или Утконос. Невзрачный женоподобный тип, лет сорока, плешивый и с острым, как у муравья, брюшком, он воспринимался несерьезно и с внутренним протестом. Во всяком случае, невозможно было представить себе, как Уткин, едва ли имевший с такой внешностью хоть одну личную историю за душой, мог иметь хоть какое-то отношение к истории отечественной, не говоря уже о всемирной.

Стоял он, как криво вбитый гвоздь, а ходил всегда внаклонку. И когда заходил в класс, сперва появлялась указка с обломанным концом, потом плешь, нос в прожилках, узкие плечи, расширяющееся книзу туловище, и под конец – ноги в узеньких коротеньких брючках и черных нечищенных ботинках. Ребята злословили, что брючки ему перешивает из детских штанишек его мама – швея (Уткин не был женат), а ботинки чистит папа – старшина. Несуразность фигуры, казалось, спорила с несуразностью одежды, и обе бывали биты несуразностью самого облика учителя истории, от которого, согласись, должно все-таки веять если не величием, то хотя бы некой значительностью. Ребята обсуждали его манеру входить в класс – «как клин», «свиньей идет», пробовали удержать в наклонной позе равновесие – и не могли добиться такого угла наклона и не падать. Ходить внаклонку и вовсе ни у кого не получалось. «Он будто воз тащит в гору, – сказал Мурлов. – Или всю жизнь идет против ветра. Разве можно идти против ветра истории? Да и вообще что-нибудь делать против ветра?»

Исторические уроки Уткин, естественно, черпал из учебника истории. Он рьяно блюл все пункты и параграфы утвержденного инстанциями пособия и не отступал от них ни на шаг – ни влево, ни вправо, точно учебник был проходом в минном поле для конвоируемого контингента. Единственным методическим отступлением, вернее, дополнением к учебнику, были составленные им к каждой теме хронологические таблицы не только важнейших, но и всех, заслуживающих хотя бы одного упоминания, исторических событий. Это были грандиозные таблицы, включающие данные из Библии, различных мифологий и справочников. А такие слова, как «гекатонхейры», «ситофилакс», «Идиставизо», «Цинциннат», и сотни подобных им, не могли не нравиться прилежным школярам, особенно если учесть, что каждое из этих слов было привязано к конкретному времени. Так вот, эти таблички Уткин в конце каждого урока из тетрадки перерисовывал на доску. (Спроси сейчас кого, что такое ситофилакс, скажут – сифилис; гекатонхейры – вообще материться начнут). На следующем уроке он требовал от учеников воспроизведения всей этой «хронологии», как называли ее ребята, и за малейшую неточность лепил двойки, а если путали государства или, не дай бог, столетия – колы. Подсказчиков и тех, кто не знал темы урока, тут же исключал из исторического процесса – выгонял из класса, отнюдь не облегчая тем самым их участь: на следующем занятии они должны были отвечать на его вопросы по всему пройденному курсу, что было смерти подобно. Смеялся, отрывисто и гулко, он только в одном случае: когда не могли вспомнить – до нашей эры было какое-то событие или не до нашей. Один раз ему даже стало плохо от смеха и вызывали скорую помощь.

К середине года школьники уже прекрасно помнили все битвы, войны, реформы, смуты, царствования, восстания, все громкие имена и звонкие названия, и множество чисел по обе стороны от Р.Х., каждое из которых было привязано к чему-то одному. Словом, ужас, как сказала одна слабонервная мама. Это верно. Ведь каждое историческое событие представляет собой такую кашу, расхлебать которую удастся далеко не всегда и не каждому. Что же говорить тогда о всемирной истории? А таблички вносили какую-никакую ясность; и когда прихо-

дило очередное проверяющее из ОНО, все ученики с немислимой легкостью называли трудно выговариваемые имена и географические названия и жонглировали бесчисленными круглыми и не круглыми датами, ловко нанизывая их на стержень темы.

Сами же уроки, как ни странно, были, увы, скучнее самого Уткина и своей монотонностью навевали такую тоску и скуку, что даже самые последние разгильдяи принуждали себя зубрить сей предмет, чтобы потом не пасть жертвой иезуитских пыток и допросов Утконоса, сопровождаемых остротами типа: «Ну да, ты с Жанной д'Арк на костре не горел, ты в это время гонял мяч. Зубрите, – призывал он всех остальных, – ибо закон всех этих имен и чисел постигнут не многие из вас! А без этих имен и чисел – вы ничто! Ноль».

В такие минуты диву можно было дать: неужели и та жизнь, которой они жили все, которая в этот момент бурлила за окнами школы, слышалась в глухом ударе бутса о кожаный мяч, звонком девичьем смехе, велосипедном звонке, а еще пуще – в них самих, неужели эта жизнь когда-то будет такой же бестолковой, путаной и ненужной, подчиненной неведомому никому закону, и неужели из нее запомнятся только памятные даты да громкие имена и названия, неужели от меня, от Васьки, от самого Уткина ничего не останется через сто, через тысячу лет? Куда денутся его плешь и муравьиное брюшко? Вся эта «хронология»? Наши переживания по поводу чьих-то исторических успехов или неудач? Зачем тогда жить? – рассуждал Мурлов, и не слушал Уткина. И напрасно. Уткин, оказывается, обращался в этот момент к нему и, не дождавшись от Мурлова ответа, вкатил ему пару, чем несказанно огорчил юного философа. Тем более, что он подготовился сегодня к уроку.

На следующем уроке истории Уткин взял свою тетрадку в клеточку, всю испещренную хронологическими таблицами, мелок и провел на доске первую линию. Мел скользил, крошился и не писал. Уткин отложил мелок, взял другой. Тот тоже скользил, не оставляя следа. То же самое произошло с третьим мелком, четвертым... На полочке лежало семь мелков, и Уткин перепробовал их все. После седьмого он скомандовал: «Дежурный, мел!» Дежурный принес четыре куска мела. Ни один мелок не писал. После третьего мелка в классе захихикали, после седьмого стали смеяться, а на одиннадцатом уже натурально завывали. Никогда еще история не была такой интересной. В самом деле, повторяйся любая история по десять раз, появился бы какой-нибудь новый неожиданный интерес к ней.

– Староста! В чем дело?

Если бы староста знал, в чем дело.

– Живо! К директору! Позвать его сюда!

Директор въехал в класс, как тяжелый раскаленный утюг на пионерский галстук, и тут же все выровнялось и разгладилось. Уткин объяснился. Директор выгнал всех учеников за дверь и велел заходить по одному на допрос. Через пять минут двое с дрожью в голосе, словно выдавали себя, выдали Мурлова – весь класс видел, как он натирал перед уроком доску не то воском, не то канифолью.

Вечером в кабинете директора, в присутствии Уткина, Мурлова-отца, классного руководителя и завуча, директор спросил Димку:

– Ты зачем это сделал?

Мурлов-сын выждал паузу и отчеканил (губы его не дрожали):

– Вся история состоит из героев и предателей. Вот я и сделал это с единственной целью: выявить в нашем классе предателей!

– Герой нашелся! – сказал директор.

А Уткин добавил:

– Какой там герой! Провокатор. История еще состоит из провокаторов.

С этого дня Мурлов полюбил историю. Если бы он ее любил раньше, он уже знал бы, что предатель – каждый двенадцатый, а если задуматься – каждый шестой. А все остальные – провокаторы. Простим ему: незнание не вина, а беда. Димка почувствовал, что история –

это когда хотя бы один человек выступит против другого, защищая свою правду. А уж потом всякие уткины этому событию припишут место и время и скажут, что тут правда, а что нет.

Дома отец как-то недовольно сказал Димке:

– Э-эх, паря, я-то думал, у тебя с башкой в порядке. Убитые да калеки делают историю, – он показал ему правую руку, на которой не хватало двух, прокуренных до войны, пальцев. – А предателей и героев мало. Как сумасшедших. Никто не хочет быть ими. Это ненормально. Ими становятся по чьей-то злой воле.

А где-то через неделю Уткин задержал Мурлова после урока и затеял с ним неожиданный и странный разговор:

– Ты прости меня за провокатора.

Мурлов опешил.

– Когда я был такой, как ты, тоже лет тринадцати-четырнадцати, отец мой работал учителем истории в школе, а мама – в райкоме. И фамилия их была Борисовы, а не Уткины. Это я – Уткин, не помнящий родства. Отец своими глазами видел, как все было в семнадцатом году и потом, в двадцатые годы, да и документов тогда много разных водилось, дотошный был человек (не до тошноты, как я, а?), но у него язык не поворачивался говорить против совести. Уж такое воспитание получил. Естественно, ученики узнавали от него многое такое, что по их детскому неразумению им неположено было знать. Арестовали... Мать правду искала – в райкоме! – и ее взяли. Остался я один. Представь – ты один. Никого. А хочется есть. Хочется простого участия... Сидели они в разных местах, и один ничего не знал о другом. Тогда в камеру заходили и говорили: сегодня на букву, скажем, «А»; и кто был на букву «А», прощался со всеми другими буквами, и его больше никто не видел. Так вот, говорят, в камерах матери и отца в один день объявили: сегодня на букву «Б»... Им бы тогда какую-нибудь другую букву или хотя бы разные! Вот она, какая азбука.

Мурлов тогда мало что понял из этого сумбура. Он только видел в уткинских глазах страшное одиночество, и вся его странная фигура не была почему-то смешна, а, как было написано в учебнике литературы, «была исполнена трагизма». Трагична она была – это понял Мурлов много лет спустя. Запомнил Димка эту школьную азбуку на всю жизнь, и когда годы спустя, уразумел до конца ее неестественную простоту, ему так захотелось увидеть Уткина, что он тут же пошел в школу. Но Уткина в школе не было, он переехал в другой город. И когда Мурлов подумал – завел ли Уткин семью? – у него на сердце стало холодно, значит, нет, не завел.

Уже в институте как-то случайно он забрел на конференцию «Проблемы истории и современность». Первый же доклад произвел на него удручающее впечатление, так как он, во-первых, был скучен, длинен и непонятен, как для христианина призыв муэдзина, во-вторых, все проблемы истории сводил к одной – к торжеству, в конечном итоге, идей добра, справедливости и пролетарского интернационализма, а в-третьих, вряд ли после него можно было ожидать чего-либо доброго, так как выступал член-корреспондент Академии наук все-таки.

После двух-трех выступлений и сообщений на подобную тему, пробираясь к выходу, Мурлов услышал какие-то странные для слуха речи. Поначалу он подумал, что слышит чуть ли не шаманские заклинания. Выступал учитель истории из поселковой школы с показательным уроком, это была очередная причуда очередных руководителей – на научные конференции приглашать практиков из глубинки для притока свежего исторического воздуха. Понятно, кто бы стал вслушиваться в детский лепет провинциала после программного выступления членкора на солидной конференции, где одних докторов исторических наук было больше, чем учителей истории в области. Но слушали! Хотя более удивительным было то, что он говорил.

И после выступления треть присутствующих встала и приветствовала учителя аплодисментами, может быть, даже и в пику официозу, треть негодовала или смеялась, а треть спала,

как всегда она спит, независимо от того, бомбы сыплются им на голову или зажигательные фразы.

А учитель говорил, как пел:

«И родился у Есугай-баатура, монгольского хана из рода Борджигин, и старшей жены его Оэлун, из олхонутского племени, в урочище Делиун-булдах в 553 году – сын Темучжин, что означало мирное – «кузнец». И родился он, сжимая в правой руке своей запекшийся сгусток крови. И взгляд его был, что огонь, а лицо, что заря. И снился его будущему тестю вещий сон, будто слетел к нему на руку белый сокол, зажавший в когтях солнце и луну. И выросл ханский сын не по дням, а по часам. Отца потеряв, рано стал Темучжин сиротой. Убив брата Бектера, словно ресницу вынул из глаза, повзрослел сразу на целую жизнь. Друга нашел – несравненного нукера Боорчу. И вот в 573 год хиджры, год змеи, широколобый и хитрый сын Есугая с побратимом Чжамухой впервые вкусил прелесть и хмель кровавой победы. Судьба или рок, нойоны и нукеры поставили его ханом своего улуса, и дали титул ему – Чингисхан.

И полвека без малого опустошал «кузнец счастья» родной ему континент, вытапывал страны и на месте городов оставлял пустыни. Вырезал народы и покрывал бескрайние степи белыми костями да черным вороньем. Ибо всюду у него был враг: от заката солнца и до восхода его, и от нового месяца до старого. Ибо сжато было его собственное сердце когтями злобы и страха.

И до тех пор были в когтях его солнце и месяц, пока на исходе лета, в пятнадцатый день среднего месяца осени, в год свиньи – не покинул он этот тленный мир. Завещав на прощание послушным эмирам перебить всех жителей осажденной столицы Тангутов, дабы память о нем сохранилась навечно. Что и было сделано с тщанием в 1227 году от Рождества Христова.

И был сопровождаем его последний путь кровавой резней. Гибли все, кто встречался живой на этом пути с мертвым покорителем мира. А в могилу его были отправлены 40 лучших коней и 40 красивейших девушек Азии. Дабы не было ему скучно и смертельно одиноко на том свете».

И даже как-то неожиданно, но логически бесспорно, последовали затем оригинальные рассуждения о соотношении случайности и закономерности в явлениях такого масштаба, о роли личности в истории, в полном смысле актерской, где театральными подмостками служит народ.

«О роли личности в истории говорят в тех случаях, когда эта личность из заурядной, то есть самой естественной для человека, становится незаурядной, для чего совершает несколько поступков, совершить которые не придет в голову нормальному человеку. Роль народных масс при этом состоит в том, чтобы меньше скрипеть и не прогибаться, когда тебя топчут в очередном историческом акте. И не было еще случая, чтобы они позволили раздавить себя, и тем не менее их давили, давили и давили».

Треть негодовала или смеялась – это было на удивление мало. Треть аплодировала – это было неожиданно. Треть спала – это было нормально. В общем же, выступление было идеологически не выдержано, а теоретически – не верно. Смягчающим обстоятельством была разве что принадлежность поселкового учителя к периферийной, и значит, неостребованной части граждан необъятной страны. А в целом, Мурлов захотел после этого стать историком, как тот сельский учитель, как Джавахарлал Неру, как – да-да! – историк на букву У – Уткин.

## Глава 12. Туннельный эффект

– Историком Мурлов не стал. Почему не стал – это тоже своего рода история. А все истории не расскажешь, – сказал Рассказчик и закашлялся. – Черт! Прохватило где-то. Першит горло. Хотел рассказать о Фаине...

– О ком? – спросил я.

– О Фаине, – спокойно ответил Рассказчик. – Но сегодня не буду. Жив буду, завтра расскажу. А сейчас спать давай.

Но спать мне толком не пришлось.

С некоторых пор стали происходить странные вещи: с каждым днем появлялось все больше граждан, слышавших ночью или под утро какие-то шумы, шаги, бормотанье, шорохи, видевших тени и какое-то свечение. А то вдруг раздавалось приглушенное чихание, сыпалась штукатурка, падали прислоненные к стене доски. Один раз две убогие старушонки, приставшие к нам по пути, и вовсе услышали пение, и, как они клятвенно заверяли, то была духовная музыка.

А вчера и я, наконец-то, услышал прямо над ухом шелест или шорох, черт его знает что, как от крыльев. Если допустить, что это была летучая мышь, то вряд ли: летучая мышь летает бесшумно, дергано и быстро, а тут, казалось, что-то зависло над головой и примеряется, куда ему сесть. В темноте раздался визг старушонки, а потом причитания: «Свят, свят, свят! Ангел крылом осенил! Прямо по голове. Коснулся и улетел».

А позавчера тонкий голос, явившийся из пустоты и полумрака, сообщил рано утром Веронике Михайловне и Саре Абрамовне, что «московское время тридцать часов!», а потом, ни к селу, ни к городу, перешел сразу к событиям за рубежом и воскликнул: «Президент Билл Клинтон!»

С неделю назад, также под утро, заплакал ребенок Сестры. Мы проснулись, мать стала успокаивать его, но он хныкал, тер ручонками глаза и с испугом глядел в темноту туннеля.

– Что тебя испугало, маленький? – спрашивала Сестра, но он толком ничего не объяснил. Сестра с трудом уложила его и, поправляя тряпку под ним, увидела у ног ребенка бумажный сверток. Развернув его, она вскрикнула. Там была половина кирпичика черствого ржаного хлеба. У всех сон как рукой сняло. И всем было безразлично, как попал сюда хлеб – лежал ли он здесь давно, не замеченный никем, принес ли его кто-нибудь из людей или духов, материализовался ли он или перенесся волей экстрасенса из другой точки пространства – нам было всем наплевать на это. Лишь бы он не оказался злой галлюцинацией, миражом в туннеле. Уж очень аппетитно пахнул этот черный шершавый кусок! В его материальную сущность мы уверовали только после того, как раскрошили хлеб, разделили крошки, выделив ребенку тройную порцию, и положили эти крошки, как валидол, под язык.

К сожалению, подобные материализации часто нас не баловали: еще один раз Сестра нашла возле головы ребенка завалившийся кусок сахара, который доставил ей несколько блаженных минут.

– У тебя, Сестра, удивительный сын. Это полтергейст, – со знанием дела говорила жена Боба. – Он у тебя от первого брака или от второго?

– От третьего, – сказала Сестра.

– Значит, точно полтергейст. Скоро должны начаться еще более удивительные явления, так как нагрузка на психику ребенка растет с каждым днем, а она еще, к тому же, отягчена твоей психикой и кармой.

Действительно, так оно и случилось: самовозгорался воздух в глубине туннеля и постепенно, как ракета, гас, явственно слышались шаги, но никого не было видно, а тут еще вторично Веронике Михайловне и Саре Абрамовне тот же тонкий сипловатый голос опять под

утро сообщил, что Билл Клинтон – президент. Но на этот раз их наполнил почти мистический ужас, когда голос три раза отчетливо повторил: «Компендиум!» Саре Абрамовне вдруг показалось, что она слышит голос своего учителя Зильберштейна, умершего еще в 1955 году и с которым она была достаточно близка по научной части. И она сказала об этом Веронике Михайловне, почему-то перейдя на шепот:

– Мне еще в прошлый раз, Саруня, показалось, что это голос Мишеньки: те же интонации, тот же тембр, то же изящное грассирование.

Пошептавшись, подруги уверовали в реальность потустороннего голоса и тут же припомнили массу аналогичных фактов из жизни мифических и легендарных личностей. Ахиллес, да-да, или, конечно же, Орфей! И реальные люди: Жанна д'Арк, например, или тот же Иван Грозный! Да-да, ты совершенно права, Верунчик, совершенно права, Иван Грозный! Да-да.

Их таинственное перешептывание давно привлекало внимание убогих старушенок, и они приложили все свое профессиональное мастерство и сумели таки подслушать почти всю их беседу. Старушонки еще с первого вечера думали сойтись с Саруней и Верунчиком, но ученые дамы, заметив это, тут же отгородились от них непроходимым частоколом энциклопедических знаний.

Через пять минут весь туннель знал о явлении этой ночью самого Ивана Грозного. Понятно, слухи распространялись в туннеле со скоростью пешехода, удивительно только было, как эта скорость велика. Старушонки истово клялись и божились, что где-то под утро, когда всех сковал непробудный сон, они, по своей старости просыпающиеся чуть свет, увидели, как из темного чрева туннеля, весь в слабом синеватом сиянии, с длинным посохом, в острой бороде и в царской шапке, величественно вышел сам Иоанн Васильевич Грозный, государь вся Русь.

– Вот он где прячется, – сказал Рассказчик. – И был лик его грозен и нахмурен, а под глазами легли синие тени.

– А у него там, в руках, кроме посоха, колбасы случаем не было? Какой-нибудь, черт с ней, кровяной? – спросил Боб.

– Господь с тобой! – ахнули бабки. – Какие слова ты говоришь окаянные!

Однако слух о явлении грозного царя прочно осел в умах путников. Причем все уже были уверены, что он явится непременно с колбасой. Многие, просыпаясь среди ночи, осторожно приоткрывали глаза и с замиранием сердца изучали приевшийся до тошноты интерьер. Царь больше не приходил. Видимо, не отпускали на прогулку государевы дела. А может, в шестой зал подался...

– Я уже говорил, – сказал Рассказчик, – истинно великие люди редки, а уж явление их нам, людям простым, вещь вообще уникальная и, что характерно, случается она с самыми простыми из простых, самыми бесхитростными и безгрешными. Так что вам, бабушки, крупно повезло. Как только достанем бумагу, обязательно оставьте записи потомкам.

Старушонки мелко и часто крестились, а Сара Абрамовна с профессиональным интересом расспрашивала их о таких подробностях, как цвет глаз или форма носа монарха, совершенно не подозревая, что об этом ей было лучше спросить у самой себя. Цвет глаз, кстати, оказался «черным, со стальным отливом», а форма носа «как у грузина или еще кого, клювиком».

Таинственную фигуру все-таки увидели еще раз. Место было темное, но различить хотя бы контуры тела было можно. Среди ночи опять-таки заорали бабки. Через них, спящих, кто-то перешагивал, подобрав полы царственной мантии. Решив, что это царь, старушонки, после первого своего естественного ора, возбужденно и нечленораздельно и запричитали. Все проснулись и увидели, как в проход метнулась коренастая фигура, отнюдь не в царской мантии.

– Какой-то оборванец, как мы, – сказал Борода. Он был крайний к проходу в нашей честной компании. – Что-то черное и, похоже, бородатое.

– Туннельный человек! – хохотнул Боб. – Пора приглашать телевидение и кинохронику. А как насчет следов? – и он, юродствуя, сделал вид, что ползает по полу в поисках таинственных следов. – Ты смотри, нашел!

– Что? Что?

– След, вместе с туфелькой, – Боб поднял рваный башмак. – Ну, Золушка, берегись! Теперь у тебя есть жених!

– Засылай, Боб, сватов. Вот только куда?

– Сам придет, – ответил Боб.

– Его надо чем-то заманить, – предложила Сара Абрамовна. – Едой, например.

– У вас есть еда? – серьезно спросил Боб. – В таком случае, я лично берусь за поимку царя вместе с Золушкой. На меня и на них – три пайки, пожалуйста!

– Нет, – сказала Сара Абрамовна. – Еды у меня, к сожалению, нет. И знакомых, чтобы достать ее тут, тоже нет.

– Жаль, жаль...

– Но на уровне идеи, – продолжила Сара Абрамовна.

– Идея хороша, – согласился Боб. – У кого еще есть идеи? Учредим банк идей!

Идей было много, и предлагались они с жаром, точно речь шла о поимке вепря. Но в конце концов разум восторжествовал: не надо ничего делать – сам придет.

– Я же вам говорил! – сказал Боб. – Куда он денется?

Так оно и вышло. Народ, в массе своей, всегда мудр и прозорлив...

Я уже почти уснул. Как говорится, душа уже отлетала. И тут – кто-то появился из темного проема, скользнул мимо спящих, наклонился над Сестрой. Я схватил его за ногу. Он молча дернулся, но я держал крепко и силой усадил «привидение» рядом с собой. По кепке я узнал Хаврошечку.

– Что у тебя там? – спросил я; он разжал руку, в ней лежала мягкая сморщенная картофелина. – Где ты все это берешь?.. Ладно, хватит прятаться от всех, давай спи.

Хаврошечка расслабленно прислонился к стене и тут же уснул. Утром на него никто не обратил внимания, только Боб между прочим спросил: «Как командировка?» Я незаметно отдал Хаврошечке его башмак.

Сиплый же голос, как ни странно, опять под утро сообщил, что «московское время тридцать часов», опередив, таким образом, фактическое более чем на сутки. Оказывается, лгал самым бессовестным образом волнистый попугайчик. Он сидел в коробке и сипел из нее в щелочку. Кешу всю дорогу прятал в коробочке его хозяин, пожилой мужчина с трясущейся головой, опасаясь, что если его обнаружат, то съедят вместе с перьями. Иногда он проветривал коробочку, и однажды Кеша вылетел и порхал в темноте, напугав старушонку, пока случайно не приземлился прямо на голову хозяину. Тот подставил ему палец и осторожно переправил Кешу в его домик. Кешу есть не стали. Даровали ему жизнь и даже выделили однокомнатную квартиру из палочек и проволочек. Сестра прикрепилась осколок зеркала, и Кеша то и дело прихорашивался возле него, из чего все заключили, что это не Кеша, а Лукерья.

## Глава 13. Сон в летнюю ночь, или Были «Голубого Дуная»

Назавтра Рассказчик был более жив, чем мертв, но рассказать ничего не смог. Сказался резко-континентальный климат подземелья и лишения кочевой жизни. Он совсем потерял голос и надсадно кашлял. У него внутри сипело, взрывалось и клокотало. Видно было, что у него болит грудь, шея, голова, но он, молодец, пробовал улыбаться. Хотя не мог спокойно смотреть на то, как ветер уносит мгновения жизни, не наполненные словами, будто дым костра. Для него слово было и в начале, и в середине, и в конце, и вместо. Оно должно было гореть, трещать, согревать. Сладкое заблуждение. И я предложил ему послушать мой сон.

– Что за сон? – оживился Рассказчик.

– Сон как сон. Немного странный. Про новорожденного мальчика. Про то, как его принесли из роддома, а в него тут же вселилась душа Дон Кихота.

– Идальго Кехана? Тебе приснился такой сон? Интересно. Не иначе как на тебя произвел впечатление мой рассказ об «эвдаймонии».

– Не иначе. Не напрягай голос. Слушай. Когда он родился и его принесли на пятый день домой, в него вселилась душа Дон Кихота. Алонсо Кихано, если угодно. На то есть два очевидца. Я разговаривал с ними – их можно всегда найти на Стрельбищенском жилмассиве возле «Голубого Дуная», что рядом с железкой и гаражами. Это вечные очевидцы. Потому что они вечно торчат там. Ты знаешь, где «Голубой Дунай»?

– Знаю. Только какой, к черту, он голубой, если коричневый?

– Да, сейчас это металлический гараж, в котором продают пиво, и цвет у него действительно бурый, но раньше это была деревянная избушка, выкрашенная в голубой цвет. Этот цвет и изобилие пива и дали имя ларьку. Так вот, и в тот раз я застал очевидцев на двух чурбачках возле «Голубого Дуная». Это приличные старички годков под семьдесят. Как сейчас помню, рядом с ними сидели на крышке от газика два мужика, еще вполне репродуктивного возраста, один держал между ног ведро с пивом, заглядывал в него, причем так, что лицо погружалось в пиво, потом вскидывал голову вместе с брызгами на приятеля и говорил: «Ну, хошь, секи! Секи мне голову напрочь!» Приятель хмуро молчал, мужик же долдонил: «Нет, ты посмотри: пиво – дерьмо, ведь половина – вода, вода! А я второе ведро пью!» Приятель же, как всякий сторонник срединного пути Будды и по примеру Орода, о которых он скорее всего не знал ничего, по пути Будды и по примеру Орода, со словами: «Ты жаждал – так пей же, сволочь!» – окунал голову друга в ведро. Он хотел сказать, что тот малость переборщил, взявшись за второе ведро, поскольку ведро было для них той самой разумной мерой, которой так любили пользоваться древние. У древних она была чуть-чуть побольше, что-то около тринадцати литров, ну да народ сейчас измельчал и мера стала поменьше. Так вот, выпил я вместе с очевидцами пивка, и они рассказали мне, как сорок пять лет назад (или, постой, пятьдесят? Да-да, пятьдесят) они видели, нет, скорее были именно свидетелями того, как в ребенка вселилась душа Дон Кихота. Сказали, что могут поклясться в том на Библии. Поскольку Библии под рукой не было, я им поверил на слово.

\*\*\*

Младенец с матерью находились в комнате, а они (очевидцы то бишь) с его отцом сидели за кухонным столом и решали, кем ему быть. После того, как они перебрали около литра профессий, сошлись на мысли, что сын будет, как и они – слесарем или строителем. Какой-никакой, а заработок, и все что надо – под рукой и в руках. Закусив «слесаря со строителем» капусткой, они услышали вдруг, как из комнаты донеслось негромкое ржание и крик погромче, будто кто-то задыхался. И тут же восклицание жены, звон разбитого блюда, плач ребенка. И снова

крик, прямо-таки душераздирающий, каким могут кричать только ослы. Решительно отбросив из-под себя табуреты, все трое разом протиснулись в комнату, но никаких лошадо-ослов не увидели, мало того, не было даже их запаха. Решив, что это все им почудилось, ну, иначе просто чертовщина получается, друзья было направились к кухонному столу, но жена спросила их:

– Вы что же это, нарезались до ослиного крика? Спать не дадут! – чем страшно обидела мужиков.

Не успели они сформулировать достойный, но мягкий, не травмирующий молодую мать, ответ, как снова крикнул осел, хотя они все трое молчали. И тут же в углу загремело то ли ведро, то ли корыто, кто-то чертыхнулся, оступившись, и ясно произнес, причем по-русски (ты сейчас поймешь, почему я обращаю твое внимание на этот момент):

– Ты не прав, Санчо. Это он. Мы с тобой у цели. Наконец-то я отдохну.

– Ради всего святого, государь мой! – завопил другой голос, погуще и потолще, и тоже по-русски. – На кого вы меня оставляете? На этого осла? Ведь ваша милость обещала мне, что я от вашей особы не отойду ни на шаг до скончания века!

– Вот этот век и кончился, Санчо. Не беспокойся. Я тебе, мой верный друг, вручаю моего Росинанта, заботься о нем, как обо мне, – он заслужил это. Не жалею ему лишней клок сена – смотри, как у него выперли ребра! Прощай, мой верный Санчо. Соскучишься – черкани пару строк.

– О, мой господин! – с горечью воскликнул оруженосец. – Ради самого Христа, вы что, забыли – я даже и читать-то не умею!

– Научишься, Санчо. Я уже говорил как-то, не помню, записал это Мигель или нет, я говорил, что умственный труд выше телесного. И – поверь мне – можно научить читать даже осла, если на короткое время заставить поверить его в то, что он не осел. Прощай же!

– Сеньор! Вас опять заколдовали! О, горе мне! Горе! О, нет, нет! Боже милосердный, коли ваша милость прогневалась на доброго вашего оруженосца за то, что он вечно говорит одни только глупости, отрубите ему лучше голову, говорящую эти глупости, но не гоните от себя!

– Напрасно ты так думаешь, друг мой. За что мне гневаться на тебя? Это ты прости меня, я не всегда был ровен с тобой. Рыцарь должен со всеми быть ровен, хотя он и никому не ровня.

– О, Рыцарь Печального Образа! Возьмите меня в любую глухую местность, и я там буду вместе с вами с корнем вырывать деревья, убивать пастухов и угонять кобылиц! Я буду вместе с вами валять любого дурака, какого только ни прикажете! Я буду, как и вы, ваша милость, буйным сумасшедшим!

– Санчо, сын мой. Успокойся. Тело мое еще попутешествовало бы по этому свету, но душа вот захотела увидеть свет иной. Прощай – и помни обо мне. Прощай и ты, мой славный одер. Прощай и прости: я меняю тебя на одр. Считай, что я отсек от тебя ненужную букву. Ты ею, кстати, уже забыл как и пользоваться. А в остальном ты по-прежнему со мной, мой благородный Росинант.

– О горе мне! Горе! Горе! – голос Санчо стал удаляться, стихать, стал стихать и топот копыт его осла и одра Росинанта, пока не стихли совсем.

– Вот я наконец-то один, – послышался удовлетворенный голос Дон Кихота. – Вот и конец моим странствиям. Прощай, моя несравненная Дульсинея Тобосская! Догнали борзые зайца – не увижу я больше тебя! – пустота покряхтела, повздыхала и молвила: – Прилягу-ка я вот здесь, рядом с этой живописной картиной. Достопочтенная синьора с младенцем. О, Мадонна! И три кавальера. Намалевал тут живописец! Не мог побольше ночлежку нарисовать. Э-хе-хе. Это и будет теперь мой ночлег.

– Однако! – сказал муж достопочтенной синьоры с младенцем и поглядел на друзей. Кавальеры ошалело молчали, и у них не было ни в одном глазу. Сама же синьора, справившись с ужасом, набросилась на муженька с дружками:

– Допились, черти, до белой горячки! Чтоб провалиться вам всем на этом месте!

– Тю, ты чего, сдурела? – отозвался муж, но вполсилы. – Ты сама-то слышала?

– Ну...

– Что ну? Ну, ну! Баранки гну. Раз слышала, значит, горячка белая и у тебя, а это, поверь нам всем, – он обвел неуверенным взглядом трезвых как стеклышко друзей, – ну никак невозможно! Не было еще такого на русской земле!

Что там говорить, не только на русской, но и ни на какой другой земле случаев коллективной белой горячки еще отмечено не было.

– Не мешайте мне спать, любезные кавальеры! – пробурчал голос. – Шли бы вы в корчму, на кухню! И не прекословьте мне!

Мужчины на цыпочках вышли на кухню. Кухня показалась им вдруг страшно маленькой. Подхватив ребенка на руки, следом за ними выскочила и жена.

– Доставай, где ты спрятала бутылку? Давай, давай! Тут без поллитры точно не разберешься. И капуста, капуста подбрось. Там еще одна банка оставалась.

– Иди ты к черту! – шепотом огрызнулась жена. – Сам сидит, сеньор кавальер, хоть бы ребенка взял от меня! Как я одной рукой?

К ребенку с готовностью протянулись шесть рук.

– Да тише вы, осьминоги, осторожней! – отдав ребенка, она наложила в миску капусты из банки. – Последняя! – и принесла откуда-то бутылку белой. Подойдя к двери в комнату, она наклонила голову, прислушалась. – Тихо. Спит.

И тут ребенок зевнул и сказал: «Е-мое, как хорошо!»

Мужчины молча отбили сургуч, разлили, хмуро чокнулись и, не глядя друг на друга, опрокинули стаканы в глотку. Послышалось пятнадцать глотков, после которых яростно заработали челюсти, капуста хрустела и вскрикивала на зубах. Ошалевшие мужики глядели то на ребенка, то на мать и не знали, чем занять мысли и руки. У матери же, по причине невозможности выпить, поехала крыша. Когда пришло время кормить ребенка, она прошептала:

– Я боюсь.

– Чего ты боишься, дурочка. Не укусит.

– Да я не его боюсь, – она указала мизинцем на ребенка, – а того, – она ткнула большим пальцем в сторону комнаты. Три средних пальца у нее были прижаты к ладони, будто она предлагала защитникам выпить еще. Что предлагать – ты дай!

– Щас мы с ним разберемся! Ща-ас! – муж подтянул ремень. – Айда, ребята! Надо же, дома как на фронте!

Ребята, взяв в руки по табуретке, вошли в комнату. Тут они выстроились вдоль стены, не зная, что делать дальше. Фрицев не было. В комнате стояли койка с привинченными блестящими шарами, шифоньер, стол и два стула коричневого дерева, сундук с дореволюционным добром, этажерка с десятком хорошо известных книг, висел репродуктор и коврик с грозными львами на берегу озера, поросшего камышом. С потолка свешивался богатый желтый абажур с кистями. На полу стоял на колесиках будущий конь сына. Разбираться было не с кем. Табуретки негодились.

– Ты слева заходи, ты справа. А я прямо пойду, – скомандовал муж.

– Осторожно. Не наступи! – попросила жена.

– Не дрейфь, – сказал муж. – Проверено, мин нет.

Только друзья сделали по шагу, она опять воскликнула:

– Стойте!

Мужики замерли.

– Может, участкового позвать? А то потом отвечай за этого невидимку.

– А и так отвечать надо будет, – сказал муж. – Почему-то Он не к соседям, а к нам на ночлег устроился.

– А почему ты знаешь, может, Тот, с ослом, как раз к соседям и завернул. Хорошо еще, Этот кобылу свою Тому отдал.

Разумный довод супруги, особенно в той части, что Тот завернул с животными к соседям, поколебал намерение мужа немедленно расправиться с непрошеным гостем, тем более что сделать это было весьма затруднительно.

– Вась, смотай-ка за Прокопичем. Он через дом живет.

– Да знаю, – сказал Вася и помчался за государственной помощью.

Подмога, в лице Прокопича, с порога потянула воздух чутким милицейским носом, насмешливо поглядела на сопровождавшего ее Васю и всю честную компанию и констатировала:

– Белая особая. Капуста квашеная. Сапоги кирзовые. Запаха осла и железа не усматриваю. Рецидива преступности полное отсутствие. Резюмирую: пить надо одну на троих, ну две, а не три.

– Прокопич, обижаешь! Где их взять, три?

– Вам виднее, где взять. Чего смеяться-то? Вон на подоконнике три пустые бутылки. С ка-а-апельками на дне. И запахом, им свойственным.

– Вроде все до капли вылили, – сконфуженно промолвили друзья.

– Смотрите у меня! Конспираторы! – сказал Прокопич и, козырнув, ушел.

– Да, братцы, посмешищем стали! Теперь, чего доброго, на собрании разбирать начнут за наш образ слуха.

Гости быстренько разошлись по домам, а молодая семья так и промаялась до утра на кухне.

Утром ничто не напоминало о вчерашнем явлении. Голос исчез, как и не было его. Даже обидно как-то, ей-богу! А сын стал расти не по дням, а по часам, и уж быстро был рассудительный и знающий. Но держался со сверстниками ровно.

К счастью, Прокопич не проболтался, все-таки это был его участок. Иначе подтверждение этому факту можно было бы найти не только на чурбачках возле «Голубого Дуная», а где-нибудь на пожелтевших страницах местной газеты или, боже сохрани, в какой-нибудь папке с фамилией и номером...

\*\*\*

– Ну вот, – расстроился Рассказчик. – Ты, оказывается, и сам хорошо помнишь свое рождение, первые дни... А я так распинался в прошлый раз! Копыто! Эвдаимония! Мог бы сказать... Впрочем, прощаю, детство и юность – это суета. Я расскажу тебе о Фаине. Тут ты не должен всего помнить...

## Глава 14. Помогают ли юным девам советы блаженного Иеронима Стридонского

– Так и быть, слушай о Фаине, – промолвил Рассказчик. – Только не обессудь, буду говорить тихо. Там, где надо говорить, как с трибуны, я буду делать ремарку: «Пафос». Представь: мы идем где-нибудь по Ионическому морю, и справа или слева по борту проплывает остров. Остров Пафос! – Рассказчик внимательно посмотрел на меня. – А ты сам-то ощущаешь в себе его душу?

Я промолчал. Рассказчик удовлетворенно улыбнулся.

– Итак, – продолжил он, – Фаина Васильевна. Девичья фамилия – Сливинская. Отец – академик, мать – красавица полька, вернее, по-старому, полячка из старинного рода польских магнатов Асташевских. Но сначала, для затравки, как это делается в приличных домах – перед выпивкой подают закуску, сначала немного о предках. Начнем с предков со стороны матери, а потом уже со стороны отца, по матушке предки корнями ушли глубже, дольше выкапывать. Упоминание о Станиславе Асташевском можно найти в хрониках первой четверти XVII века, как раз, если помнишь, у нас было время смут, Лжедмитриев, народных ополчений, Ивана Сусанина. Можно спорить о том, был Сусанин или не был, умер он за царя или отечество – эти факты, как технические условия на газовые турбины и унитазы, пересматривают каждый год все кому не лень; а вот Асташевский был точно, и ни в каких пересмотрах не нуждается, оттого что он никогда не продавался и на нем некому было спекулировать. Но сведений о нем, повторыю, можно найти множество. Он был богач, красавец, бретер. Конь, сабля, кубок и паненка были с ним неразлучны. Он иногда в запале мог их и попутать. «Черт попутал!» – восклицал он, когда наутро обнаруживал, что ночью отстегал плеткой паненку, и, раскаявшись, целовал любимую кобылу в губы. Кобыла только скалила зубы. Но не кусалась. Следующие три века не изменили существенно характер и внешность ясновельможных панов Асташевских. Разве что лысеть они начинали в XVIII столетии после пятидесяти лет, в XIX – после сорока, а в XX – уже к тридцати. Но рождались по-прежнему все лысенькие, головастые и крикливые. По народным приметам: пузцо сытенное, голова тыковкой – генералом будет. Так и бывало. Что же касается женской половины этого рода – все пани были исключительные красавицы. А красавицы – они всем красавицы, потому всем и нравятся. Говорить же про ум и нравственность красавиц, как ты знаешь, не умно и не нравственно.

Отец Сливинского, Николай Васильевич, окончил Петербургскую духовную академию. Прекрасная память, широкая образованность, интеллигентность, великолепный голос и стать сулили ему приличный духовный сан, блестящую карьеру, счастливое будущее. Но карьера у него, увы, не сложилась. Человек предполагает, а Бог располагает. Жизнь бросала его по свету, по городам и епархиям – нигде он не приживался. Правда хранит непорочного в пути, оттого и путь у непорочного бывает так долог. Время было беспокойное и смутное, как и три века назад, как и у нас. Я же говорил, что оно застыло в нас, несправедливое и непонятное. По прошествии лет Сливинский понял, что время – это тоже проявление Его, и оно тоже бесстрастно, как Он, и одинаково справедливо ко всем; но тогда ему казалось, что к нему время было особенно несправедливо. Да и разберись тут со временем, когда времени ни на что не остается: с одной стороны, на слуху все громкие, то прославляемые, то проклинаемые, имена – отлучение графа Толстого, открытие мощей Серафима Саровского, явление бога во плоти Иоанна Кронштадтского и плотского дьявола (а может, ангела?) Григория Распутина; а с другой – обычное людское болото, безбожные погромы евреев, осуждение иоаннитов, воровство, мздоимство, лже-свидетельство, чревоугодие, праздность, косность, ложь, злоба, и все, все погрязли в свинстве, пьянстве и провалились в пропасть блуда. И те, кто больше всех погряз и провалился, громче

всех взывали к богу с просьбой покарать грешников. И все окаянные жаждали нового Мюнцера.

И Мюнцер пришел. В один год все пошло вверх тормашками, и настали черные красно-белые года, с лицами, перекошенными в морды и хари, с диким храпом несчастных лошадей, с голодом и холодом, и всюду были одни начальники и не было ни одного закона. И всяк был лишен его доли – всяк был лишен наслаждения делами своими. И каждый пролил кровь каждого, и бегать теперь каждому до могилы от самого себя. А потом и детям их, и внукам, и правнукам. И никуда не убежать. И не осталось ни у кого ни чести, ни честности, ни гражданственности, ни доброжелательности, ни милосердия, ни непорочности. Страх создал богов. Страх богов и погубил.

И пошел Николай Васильевич по белу свету вослед за белыми, и осталось позади него вместе с красными красно солнышко, а в душе его черным-черно с тех пор, сажа одна, копать да пепел. И понесло Сливинского, закрутило: Всероссийский поместный собор во главе с епископом Тихоном, Карловицкий собор в пупе зла, в Югославии, на котором митрополит Антоний Храповицкий истово грозил и без того голодной Красной России голодной смертью, – и тоска была, тоска, безысходная тоска по дому (нет, не ностальгия – это гнусное, не русское слово, что оно может сказать о яростной тоске русского, выброшенного за шиворот из дома!), безысходная тоска по трехцветной, трехлинейной, трехэтажной нищей богатой России, по жене и детям, по единственному счастью в этой проклятой жизни – душевному спокойствию, которого, как он знал, уже не будет никогда. Где его было взять, это душевное спокойствие, когда и души-то не осталось в теле, а одна угольная чернота и копать. После долгих мытарств по Балканам, Польше, мостовым и набережным Парижа, где он чуть было не остался вечным клошаром, так как Париж все же стоил Балкан и Польши, а главное, был добрее, как ни странно звучит это слово применительно к изгоям, Николай Васильевич попал наконец домой, со шрамом на голове, с вытекшим глазом и выбитыми зубами, без денег, без прежней веры – нет, не в Бога, в людей, – а значит, и без будущего. Домашний скарб был никакой, но Николая Васильевича тронуло, что жена сберегла в мирских скитаниях практически все его естественнонаучные, богословские и философские книги и журналы, подборкой которых он любовно занимался с отроческих лет. И даже все его тетрадки и разрозненные листочки хранились перевязанные по папкам и просто в стопках. И он впервые понял тогда, что образ жены, с которой он всю жизнь мучился, но к которой рвался, и скромно одетая женщина с потухшим взором и жалкой улыбкой, которой уже трудно было свести с ума какого-нибудь обнищавшего князька или удалыца офицера, – это одно и то же. И тогда только мир вошел в его душу, о котором он и думать уже позабыл. И он стал учительствовать, преподавая все, что придется, так как приходилось учить мужиков и детей этих мужиков *ab ovo*, с азоз; глаза учеников были голодные и полны надежды, но было ему непонятно, кто же будет строить будущее в стране, лишенной настоящего. И ему горько было от всеобщей чисто плебейской жажды разрушения. «Бог мой, кто возвысит эти заблудшие души, кто укажет им достойный пример, кто даст им прекрасные цели? Прав святой Августин, – думал он. – Бог разделил людей на избранных и проклятых не по их заслугам или грехам, а по своему произволу. Все одинаково заслуживают проклятия. Россия – проклятая страна. Но это Родина. Это дом. Это, в конце концов, погост. Не будем посему роптать». И он безропотно, тихо и незаметно, как верба у реки, доживал свой век, и, может, его счастье, что умер он в 1932 году, а не в каком-нибудь другом, и не вошел в число двухсот тысяч расстрелянных священнослужителей, и никто не привел его посмотреть на то, что случилось после него, и могилка его затерялась, и не осталось на земле и следа от того, кто когда-то хотел помочь людям стать благочестивыми и быть выше обстоятельств. Остался ли след еще где – нам ли о том судить?

В каждом человеке, в зависимости от его породы, характера, темперамента или, другим словом, его натуры, имеется определенный конечный запас эмоций и чувств, и выражает их

человек с одинаковой силой, независимо от того, какой расклад вышел в его жизни. Хотя есть и противники этой точки зрения. Но сейчас не о них речь. Если, допустим, максимум ярости человека оценить по условной шкале в сто баллов, она в любом случае проявится как ярость в сто, а не в пятьдесят или двести баллов, будь он монахом-смиреником или гладиатором в Риме. Точно так же сострадание в сто баллов – проявится как сострадание в сто баллов, а не в сто пятьдесят, будь человек театральным критиком или живодером. Все эти пределы отпущены природой человеку вместе с его натурой и судьбой, и если он начинает вдруг превышать отпущенное, натура и судьба бьют его по носу. А если он этого не понимает – он умирает. Актером или мучеником. Посмотри вокруг – ведь все умирают! И в основном актерами. Поэтому их так много и развелось, разных актеров, что им невдомек, что это самый страшный грех – притворство и ложь, которые составляют суть создаваемых ими образов. То же – и политики, и писатели, и журналисты, и врачеватели души и плоти, и проститутки, и отцы семейств, и даже отцы церкви. Поэты – те дети. У них одна стабильная столбальная шкала ценностей. Я говорю о поэтах, а не о тех, кто пишет стихи и получает гонорары. О тех, кто пишет стихи, говорят критики, которым эти стихи или нравятся или не нравятся, а они за это получают зарплату. Сливинский не был актером, он был мучеником. Он в первую половину своей сознательной жизни бездумно и радостно выплеснул всю свою страсть на поиск истины и исправление неисправимых, а вторую провел в мучительных раздумьях о смысле жизни вообще. Говорят, результаты радостных поисков уже переполнили мусорный ящик Вселенной, а результаты мучительных раздумий записываются где-то в укромном месте и горят огненными словами для всех посвященных. Будем надеяться, что рано или поздно увидим их и мы. Но оставим нас. Мы говорим о нем. Когда исчерпались у него и радость, и скорбь, когда насытился он путем своим – умер.

Так вот. Смерть одну дверь заколачивает, а другую пинком растворяет настезь – заманивает следующих. Дети Сливинского, Василий и Надежда, родились в первую, относительно беззаботную и абсолютно радостную пору его жизни, и оттого, наверное, характер у них был боевой, оптимистичный и страстный. Они заражали и заряжали людей своей энергией, обаянием, искренностью. Надежда была хирург, что несколько не вязалось с ее довольно хрупкой конституцией, но хирург редкий даже среди мужчин, и быстро пошла в гору, сначала по медицинской, а потом и по партийной линии, много ездила по свету, была в Испании, Корее, Африке, на Кубе, – там всегда было достаточно раненых, кому надо было делать сложные операции в полевых условиях. Все отмечали, что раны ее больных почти не кровоточили и заживали быстрее, чем у других. Последние годы работала в Москве, в министерстве.

Василий рассортировал отцовскую библиотеку, философские и богословские книги сложил в ящики, а на естественнонаучные составил картотеку и за два года изучил их по собственной системе от корки до корки. Потом МГУ, увлечение аэродинамикой, баллистикой, теплообменом при высоких скоростях и прочими воздушно-скоростными науками. Сразу же аспирантура в Киеве. Защищать диссертацию должен был в июне сорок первого, в последнее перед летними каникулами заседание Ученого совета. Из трех диссертантов он шел первым.

Но человек предполагает, а Бог располагает. Конец июня застал его уже в авиационном полку, в технико-эксплуатационной части, по уши погруженного в ремонты, регламенты и обслуживание ястребков. И если в мирное время вряд ли найдется местонахождение более постоянное, чем аэродром, в военное – аэродром перемещался с места на место быстрее пехоты. Так что, помимо обслуживания техники, приходилось еще уговорами, призывами, подачками или наганом сгонять остатки населения и заниматься вместе со всеми подготовкой взлетных полос, рулежных дорожек, землянок, макетов и капониров.

Руководитель Сливинского, профессор Фердинандов, по старости не смог эвакуироваться и, чтобы не помереть с голоду, продавал белые билетки в городских банях. Когда наши форсировали Днепр, когда на земле, на воде и в воздухе был ад, он криком сорвал себе горло, он плакал и молил Бога, в которого никогда не верил, чтобы Он помог освободить город от

серой нечисти. После войны, за сотрудничество с оккупантами, ему выдали желтый билет, отстранили от заведования кафедрой и фактически выгнали из института, любезно предложив ему четверть ставки. И еще шепнули, что ходатайствовали за него «там», иначе бы...

Василий окончил войну, как и почти все живые, в Германии. Серьезных ранений у него не было, Надежда уверила его в этом; и вернувшись на Родину, он сразу же поехал в Киев к профессору. В институте его встретили радостно, а на вопрос, где Фердинандов, у всех вдруг вытянулись лица и забегали глаза.

Вечером его привела к профессору бывшая лаборантка кафедры Клавдия. Профессор жил в крохотном домике на зеленом спуске к Днепру. Он достал из буфета литровую банку с вишневым вареньем и с чувством гордости сказал, что варил его сам, сахар оставался в мешочке еще с довоенной поры, и пальцы его дрожали, когда он раскладывал варенье по розеткам, и блестели глаза. И сколько же всего можно было прочитать по этим глазам! Зачем, зачем все эти типографии и жуткое количество томов и периодических изданий? В глазах одного профессора было столько написано, чего не прочесть и за пятьсот лет, чего не найдется ни в одной Александрийской библиотеке, возроди ее даже из пепла. И вдруг он заплакал, вспомнив усопшую жену Екатерину Ивановну, и Сливинскому почудилось в этот миг, что чья-то невидимая рука ласково погладила профессора по голове, и успокоила его, и перекрестила.

– В жизни отдельного человека побеждает, как правило, людская подлость и ложь, – успокоившись, сказал профессор. – А в жизни поколения – человеческое благородство и правда. Не было еще у нас в этом веке поколения, которое своими глазами не увидело бы торжество справедливости.

Сливинский вспомнил отца, но ничего не сказал бедному старику.

– А вашу диссертацию, Василий Николаевич, я сохранил. Пойдемте, Васенька, она у меня в сундуке, на самом дне. Как смерть Кошеева, – он сделал попытку улыбнуться. – Пережил я ее. И несколько она не устарела. Напротив. Сейчас она еще актуальнее. Время такое, голубчик. Можете защищаться хоть завтра. Оппоненты не пикнут. Слабо им всем против одного только вашего места... – он стал листать диссертацию. – Вот оно...

Назавтра защищаться не пришлось, так как иметь научным руководителем Фердинандова было все равно, что не иметь научного руководителя вообще. Науке это имя стало вдруг неведомо. Фердинандов прямо сказал своему ученику:

– Васенька, возьми грех на душу: откажись от меня. Я переживу. Я уже все пережил. Выиграешь ты, выиграет дело, выиграет страна, наконец. А руководитель сам найдется, только свистни. Да на такую работу они слетятся все, как мухи!

В институте тоже советовали Сливинскому сменить руководителя, немного подправить текст, добавить кое-что из зарубежных источников, кое-что на злобу дня, и не тянуть, не тянуть! Страна нуждалась в талантливых ученых и реактивных истребителях! Сейчас все пройдет – время такое! – говорили те остепененные доброхоты, кто думал, что диссертация у Сливинского так себе и фронтовику многое зачтется. А новый завкафедрой, зная истинную ценность диссертации, сам был не прочь стать научным руководителем – все-таки престижно было на первом году заведования воспитать и остепенить способного ученика. Он даже пообещал Сливинскому через год должность доцента. Но Сливинский поблагодарил за оказываемую честь, посетовал, что за четыре года войны появилось много новых данных и нужно время, чтобы их все учесть, заверил, что он еще не заслужил такого благорасположения, попрощался с Фердинандовым, взял все экземпляры диссертации под мышку и подался в Москву искать правду и счастье.

Правду не нашел, да и особого счастья тоже. Вел в институте практические и лабораторные занятия. Жил в студенческой общаге. Имел временную прописку. Тот, кто выдумал временные прописки, и не подозревал, что он гений, – ведь у всех нас на этой земле временная прописка, что бы мы делали, окажись она постоянной? Женился Сливинский на первой кра-

савице факультета, гордой полячке Жанине, забыв как-то от головокружения, что жениться на первых красавицах – самое последнее дело. Да к тому же – разве не рок – и здесь полячка, к тому же из гордых. У Жанины была московская прописка, но с первого же дня они стали снимать комнату. «В примачки не пойду», – гордо заявил Василий не менее гордой Жанине. Она ему, не часто, но как-то умело, вставляла по этому поводу шпильки, и от них долго чесалось и не заживало самолюбие. Когда он, уже много позже, понял, что самолюбие – это сорняк, который нужно драть с корнем, и чем раньше, тем лучше, Жанине тоже прискучило вставлять шпильки, так как нашлось занятие поинтереснее, и тогда в их жизни начался новый этап, о котором я расскажу немного погодя.

В пятьдесят третьем у Сливинских родилась дочь, это была еще дочь любви. Назвали ее Фаиной – сияющей. Чувствуешь, произносишь это имя – Фа-и-и-на – и в воздухе разливается золотой свет. Пока ребенок маленький – заботы маленькие, а подрастает – и заставляет на многое взглянуть по-новому. Вот и Василий с Жаниной как-то вечером, не зная о чем говорить друг с другом, поглядели глаза в глаза и отвели их, так как оба увидели пустоту. И поняли одновременно, что больше не нужны друг другу, и что взамен этого дают друг другу вольную. Вольному воля, спасенному рай. Жанина упивалась собственной, польского покроя красотой и всеобщим мужским поклонением, а Василий по-русски уматывался на работе и иногда, редко-редко, упивался водкой московского розлива.

В пятьдесят седьмом, когда ему было уже за сорок, он сразу защитил докторскую диссертацию, и научными руководителями у него значились двое: доктор технических наук профессор Фердинандов, умерший за три года до этого в Киеве, и лауреат всяческих премий секретный академик, имя которого рассекретили много-много лет спустя.

Кстати, о секретах. Они напоминают мне подводную часть айсберга. И когда приходит время, и айсберг начинает таять, и все заливают потоки – происходят более страшные вещи, чем если бы он не таял вообще. Тогда сразу находятся люди, которые, сидя на льдине и гадая сверху вниз, по-птичьим галдят о пользе взгляда на айсберг снизу и из тех времен. А в это время в водах тонут те, кого они, собственно, и призывают взглянуть. Растаивают ледники секретов, а в них гибнут, в который уже раз, невинные люди, не умеющие плавать в помоях политики...

Через семь лет Сливинского избрали членкором и предложили создать новый институт в Воложилине. Туда он и укатил с одиннадцатилетней дочкой, оставив жену в московских апартаментах. Чтобы не делить роскошную квартиру, они, по молчаливому согласию, не развелись, каждый жил своей жизнью, в свое собственное удовольствие. Как-то само собой получилось, что Фаина поехала с отцом, а не осталась в Москве с матерью. Обычно говорят, что «дочки тире матери», но если взрослые принуждают их в детстве делать выбор, то чаще получается, что «дочки тире отцы». Что-то вроде сигнала SOS. Жена недолго оставалась одинокой, к ней перебрался, почти по-пластунски и, похоже, основательно, один из преданных друзей Сливинского. Ей всю жизнь не хватало лысого толстячка, на которого можно излить заботу и ласку, а при случае и повиниться в легких шалостях, чтобы он потом не ломал мебель и не хлестал плеткой. Скажешь, такие есть и среди настоящих мужчин, но настоящие мужчины не в счет, так как их больше заботит впечатление, которое производят они сами, а красавице с этим трудно смириться.

Сливинский изредка звонил жене. Передавал привет «пузанчику». Фаина летала к матери на каникулы, иногда и так просто, сходить в Третьяковку или в пирожковую возле Ленинки. Толстячка в эти дни с матерью не было, но вся обстановка в доме была приспособлена, подогнана под его пузатые вкусы и запросы – Фаина чувствовала это обостренно и с досадой на мать. Она любила отца. И хотя ему постоянно было не до нее, воспитанием и кухней занималась няня («Арина Родионовна»), – в нем она всегда видела искренне заинтересованного в ней человека. Мать же вызывала у нее снисходительное чувство жалости, как беспомощное домашнее животное, к которому, правда, сильно привязываешься. С годами у матери вера

в свои чары возросла, и это было порой невыносимо, хотя за ней по-прежнему волочилось пол-института. Была она безукоризненным референтом, таких в Москве еще поискать. Директору института один министр из Тбилиси предлагал за нее в качестве выкупа дачу в Цхалтубо.

Всю отцовскую библиотеку Сливинский взял с собой, оставив жене только творения блаженного Августина епископа Иппонийского. Августин натворил много чего об аскетизме и блуде, о грехе, плоти и похоти – пусть почитает, полезно будет к старости узнать, в каких грехах каяться. Знания не старят, но в старости помогают лучше понять молодость и почему она так спешила к старости. Главное, этих знаний успеть поднабраться, пока не совсем поздно будет. Может, и наберется.

\*\*\*

Фаине в первый раз Августин попал в руки, когда ей было лет четырнадцать (она случайно наткнулась на него в шкафу, разумеется, забытого и так ни разу и не читанного; видно, было уже поздно), и произвел на ее девичью душу, взбудораженную проснувшейся чувственностью и игрой воображения, – потрясающее действие. Она несколько раз перечитала его, многое не поняла, но поняла все-таки больше, чем надо было понять в ее годы, и Августин окончательно прописался в Воложилине, где вряд ли кто когда слышал о блаженном епископе.

Августин круто обвинял все человечество в первородном грехе, и Фаина никак не могла сладить с мыслью, как же так получается, что изначально и огульно в этом виновен весь человеческий род и даже новорожденные младенцы. Прямо фашизм какой-то! Ее собственная природа говорила ей о том, что взаимоотношения полов – это самое прекрасное и чистое, что может быть на свете, хотя разумом она верила блаженному Августину, что человек на то и человек, чтобы управлять своей волей. Интуитивно она хотела, ждала, жаждала любви, как высокоморальная тургеневская героиня, а в мыслях готовила себя к аскетической высоконравственной жизни. Тогда же она прочла «Отца Сергия» и «Дневники» Толстого, и облачка не подростки серьезных размышлений стали часто набегать на ее чистое прелестное личико в золотом обрамлении густых волос.

Фаина вытащила покрытые пылью богословские и философские книги из вторых рядов книжных шкафов отца и, как когда-то отец ушел с головой в математику и физику, так и она углубилась в философию и богословие. Прекрасная память доставляла ей наслаждение, когда она одну и ту же мысль находила у разных авторов, по-иному выраженную, с другим привкусом и ароматом. Платон, Сенека, Диоген Лаэртский, блаженный Иероним Стридонский, Дионисий Ареопагит, Библия, Коран, Эразм Роттердамский, Шопенгауэр, Шмаков, Соловьев, Декарт – согласись, если это прочитать между четырнадцатью и шестнадцатью годами девичества, можно без всяких призывов почувствовать на себе благодать Божию и стать обращенной, монахиней, либо просто просидеть в девках, как последняя дура. Разумеется, оставаясь девственницей, так как в девках сидят по-разному.

Было, было время, когда Фаину всерьез заинтересовали конкретные и скрупулезные советы блаженного Иеронима Стридонского, которые он давал некоей Евстохии, дочери знатной матроны Рима, как, например, сохранить девственность; и не раз уже сожалела Фаина, что нет в Воложилине храма богини Весты, где можно было бы тридцать лет жизни отдать богине домашнего очага и не грешить.

Впрочем, Фаина верно думала, что ее папа отнесется к этому выбору с весьма большим неодобрением, как в свое время и папа римский не очень-то одобрил аскетический образ жизни той же римской матроны и дочери ее Евстохии. Сливинский был жизнелюб, и в отпуске, который неизменно проводил на Черном море, любил загорелых веселых женщин, и они любили его за искренность и щедрость. Одна даже приезжала откуда-то два раза в Воложилин, и отец, слегка конфузясь, отправлял Фаину на пару деньков в Москву проведать мать.

Фаине шел семнадцатый год. Не так бойко, как боевой восемнадцатый в известной песне, но тоже давал о себе знать. И конечно же прав был Эразм Роттердамский: в таком возрасте,

что называется, самом цветущем, не имея никакого страха перед старостью, имея счастливую внешность, отличное здоровье, безупречное имя, светлый разум, достойный тела, мягкий, приятный нрав... Нет, нрав пока оставим в сторонке, за скобками. Имея такой роскошный букет свойств, конечно же, было неразумно даже в мыслях предаваться аскетизму. Воистину, зачем походить на розу, которая к ночи подобрала и поджала свои лепестки. Да и потом, что такое аскет? Аскет – это раскаявшийся грешник. Как можно быть тем, не знаю чем? Надо сначала все испытать, кем-то побыть, тем же грешником, например (ведь что там говорить, в грехе много сладкого), а уж потом все отвергнуть и стать аскетом. Кто бы подсказал? Все святые – в прошлом отъявленные пустозвоны и грешники. Однако же стали святыми. Выходит, им не помешали ошибки молодости. Вот только не надо тянуть «обращение» до старости, ибо, как заметил тот же Эразм, «что несчастнее старости, которая, оборачиваясь назад, с ужасом видит, как прекрасно то, чем она пренебрегла, как гнусно то, чем дорожила».

Тут, впрочем, Фаина не справлялась с диаметрально противоположными посылами и путалась, что же в прошлом было прекрасно, а что гнусно: порок или святость. Спешила девочка – она-то думала, что оборачивается и смотрит на свое прошлое из старости, в то время как тянула шею в предельные дали будущего и там пыталась разглядеть свое прошлое, которого еще не было. При этом она, понятно, не обращала внимания на то, что оборачивается легко и упруго, как всякий молодой листок на ветке, тогда как в старости, чтобы оглянуться назад, приходится разворачивать все туловище, как пень, который корнями тянет за собой всю землю.

Фаине, как я уже говорил, одно время и хотелось бы причислить себя к святым, но вот пять лет, проведенных в современном городе, мало походило на пять лет отшельничества в Сирийской пустыне (если, конечно, не называть отшельничеством житие за пределами столицы); половину двухэтажного коттеджа с зеленым двориком и видом на озеро – с большой натяжкой можно было бы назвать кельей или пещерой; дневное ее скудное пропитание черпалось из еженедельных академических пайков, в которых попадались и красная рыбка, и красная же икорка, и паштетик из гусяной печени, по тем временам дефицитные; власяница, покрывавшая ее тело, не вызывала нестерпимый зуд, не скрывала в себе вшей и не отбивала плотские вожделения, а имела импортный ярлык и приятный запах; что же касается суровых епитимий – она их налагала на себя добровольно в виде изнурительных изучений всей философско-богословской литературы, английского языка и латыни, да еще, по интересу, французского и древнегреческого. Слезы и стоны как-то не получались, не давались, приступов духовного экстаза не находило. Да и спрашивается – для чего наводить святость на святость, что делать с грехом, которого не было?

\*\*\*

Сливинский с любопытством наблюдал за духовным ростом дочери. Никакой Ла Шателье или Гоббс не смогли бы математически точно описать устойчивость ее состояний. Это скорее было состояние сплошной неустойчивости. За последние два года характер у нее стал крайне неуравновешенным, и Фаину то и дело бросало с одного края духовной Ойкумены в другой. Ей всего хотелось и не хотелось ничего. Ей страшно все надоело, но жуткое любопытство и всеядная любознательность пересиливали отвращение ко всему. Ей одновременно хотелось идти в ногу со временем и подставить этому времени подножку. Собственно, все это проходили.

А в один прекрасный день, когда они пошли на концерт балетной студии, он удивился, обнаружив, что Фаина стала красавицей и все на нее смотрят, и не просто смотрят – ею любуются. И он тоже приосанился и больше стал смотреть на дочь, чем на сцену, где все были удивительно похожи друг на друга. Улыбка у нее была обворожительна. Ему трудно было взглянуть на нее глазами мужчины, но он видел много загоравшихся мужских глаз, и ему было приятно и чуточку грустно.

Подруги, правда, у нее были все какие-то дурнушки, невзрачные и постные, хоть и умненькие. «Венера любит пребывать в созвездии Рыб», – сказал Сливинский сестре по телефону. Фаину же он неизменно доставал одной и той же шуткой: «Ну что, скоро я стану тестем Божиим? – и шептал про себя: «Прости меня, Господи!» Впрочем, вспоминая себя в шестнадцать лет, Сливинский пристально вглядывался в ясные черты дочери, но не находил в них следов тайного порока. И ни одна ее черта не отражала ни черта. «Неужели и ее сейчас одолевает бешенство плотских вожделений? – размышлял он книжными какими-то словами. – Нет, у них это начинается после тридцати».

Как-то появился в доме паренек в кожаном пиджаке и с нагловатым взглядом (или это так показалось?). Потом еще раз, еще... Фаина смеялась за дверью. Стонал Адамо, в сотый раз страдая о белом снеге. Вдруг смех оборвался, Адамо заткнулся. Из дверей выскочил кожаный пиджак, как-то интересно откинувшись назад, точно ему наподдали сзади, шмыгнул в дверь и был таков. Вышла Фаина. Глаза ее горели, щеки пылали, грудь вздымалась. Роман, да и только! Сливинский вопрошающе посмотрел на дочь. Фаина выглянула в окно и презрительно отчеканила: «Теперь от мужчины разит кожей, и он рвется получить поцелуй от женщины из самой лучшей семьи!»

Сливинский усмехнулся. Ему показалось, что он читал где-то эту фразу, но не стал уточнять. Интересное время, черт его подери, все из кожи лезут вон, чтобы в кожу одеться. «Черный хлеб с белым в одном пакете портится. Их нельзя держать вместе», – произнесла она.

Это уже ее фраза, подумал Сливинский, и она ему не понравилась. Пожалуй, в дочери много снобизма. Откуда он? Его еще надо заслужить, завоевать, добиться, если уж очень хочешь пользоваться им. Или умело воспользоваться готовым. Хорошо, если он из книг. А если от меня, от моего образа жизни, моего образа мыслей? А есть они у меня, эти образы? Я ведь толком и не знаю, какие они. Все некогда, все дела, да и желания особого разбираться никогда не испытывал. И не испытываю, пробовал убедить себя Сливинский, прекрасно понимая, что уж коли завелся в нем этот червь, будет, проклятый, грызть, пока не догрызется до своего лакомого куска. Старость подошла, подумал он. И весь вечер его неосознанно тревожило что-то. Что – никак не мог понять. Чтобы избавиться от тяжести в груди, лег раньше обыкновенного, в двенадцать часов.

Когда дочь стала женщиной, поздно воспитывать ее, как девочку. Однако на душе, как в вокзальном сортире. Как интересно, рывками, идет жизнь. Тьма, свет, тьма, свет. Какое-то корпускулярное прозрение. Воображаемый мир то и дело уничтожается миром реальным, а ведь он, этот воображаемый мир, был когда-то создан этим же реальным миром. А может – наоборот? Постоянное обновление. Но почему оно страшит меня? Я не хочу, чтобы дочь походила на меня? Не хочу. Не хочу, чтобы она не походила на меня? Тоже не хочу. Что, что меня тревожит так? А, товарищ Эразм? Пришло время не винить, но лечить.

## Глава 15. Савва Гвазава и его потребности

Гвазава был знаком с Фаиной три года. Когда они познакомились, ей едва исполнилось семнадцать и она только что окончила школу. Окончить школу – это еще не начать жить. А Гвазава, можно сказать, спас ее от неминуемой смерти, а может, что еще хуже, и от физического уродства. Он, Гвазава, стоял на перекрестке. День был такой хороший, девушек вокруг море. Стоял, смотрел и ждал, когда загорится зеленый свет. А тогда все можно. Савве нравился зеленый свет. Понятно, с Кавказа человек. Мимо него на тротуар стремительно шагнула женщина. Ай-я-яй! Неосторожно как! На нее неслась машина. Большая машина, серьезная. Раз, и всмятку! Если бы наскочила. Но Савва, спрашивается, на что? Савва протянул руку помощи (скорее всего машинально), схватил женщину за запястье и сильно дернул к себе. Женщина упала к нему на грудь. Мимо пронеслась «волжанка», затормозила, завизжала, развернулась, из нее выскочил, ругаясь, водитель.

– Иди, иди, гуляй, – сказал ему Гвазава. – Видишь, женщина.

Девушка молча и с любопытством глядела Савве в глаза. Савва держал свои руки на ее обнаженных плечах и почувствовал, как по ним прошла дрожь. Девушка была ослепительно хороша. И не тем хороша, чем просто женщина хороша, а другим хороша, чего в той просто нет.

Она не сказала ни слова, только так поглядела на Гвазаву, что у того сердце стало колотиться в груди, как бешеное, повернулась и пошла своей дорогой. Савва остолбенело глядел ей вслед. На той стороне девушка оглянулась и исчезла в толпе. Савва пошел на красный свет и едва не угодил под «запорожец».

Потом он познакомился с ней на пляже, в той его части, где загорала «золотая молодежь». Фаина обожала теннисный корт и признавала только людей науки. Все равно какой, лишь бы науки. Но только теоретиков. В экспериментаторах нет шарма. Савва был тоже специалист, еще какой! Высшего разряда. Доктор любовных наук. Разумеется, практик. Можно сказать, успешно вел целое направление в двух общежитиях. Но поскольку Фаина, в силу своей молодости и неопытности, интересовалась только теоретическими аспектами любви, она хоть ею и интересовалась постоянно, но даже не причисляла эту науку к рангу академических, так как она не давала пищу уму, а напротив, забирала ее у него. Прикладные науки ее и вовсе не интересовали. Там много электричества и машинного масла. Гвазава был парень с понятием. Он быстренько научился азам тенниса и стал завсегдатаем корта, хотя ему ни разу не удавалось выиграть у Фаины ни одного сета. Гвазава уже второй год работал в институте Сливинского стажером-исследователем. Все свободное время он готовился к экзаменам в аспирантуру, и через год Сливинский взял его к себе.

За этот год Фаина из стремительного зеленоглазого рыжего эльфа превратилась не то в ведьму, не то в богиню, не то в гром небесный. Во всяком случае, тайфун можно было смело называть ее именем: «Фаина». Он снес бы к чертовой матери и Японию, и Курилы, и все наше дальневосточное побережье, и тогда через четверть века не было бы никаких международных проблем.

Отношения у них сложились более чем странные. То они целые дни проводили вместе – на корте, на пляже, на лыжах, в театре или филармонии, а то не виделись неделями и, похоже, не испытывали особого желания видеть друг друга. Вполне вероятно, Фаина была равнодушна к Савве. Во всяком случае, она любила подчеркнуть это колкостью или обидным пренебрежением. В институте Гвазаву за глаза стали звать «зятком», а простодушный председатель месткома поймал как-то Гвазаву на лестнице и спросил, не нужен ли тому какой дефицит. А то кое-что есть. Для Гвазавы не было проблем с дефицитом. Так же как не было проблем с прекрасными держательницами дефицита. У него в торговле знакомых женщин было больше, чем товаров. «Дорога в рай вымощена хорошенькими женщинами, – любил повторять он. – Фран-

цузы это усвоили уже давно». На этот случай у него была присказка собственного сочинения: «Предаемся похоти, как французы, походя».

Савва был наполовину грузин и пользовался этой половиной с успехом. Для грузина ему, правда, не хватало щедрости и благородства, а для русского – искренности и доброты. Савва был хитер, как немецкий лис, злопамятен и скуп, несмотря на показное расточительство. Но полнокровные дамы, державшие в своих крепких, как у возничего, руках невидимые нити распределения, любили его. Полнокровные дамы жили этим. Без этого терял смысл вообще всякий дефицит и распределение. Кому эти тряпки и жратва, к чертовой матери, нужны, если на них мужика не заманишь? Когда они разговаривали с Гвазавой, то сияющими и жадными глазами пожирали его и глотали слюни или заливали пивом пересохший рот (кто как), а потом, в будуарах, устраивали такую баню, что лишались на восемь часов всяких чувств. Гвазава был чистокровный самец, которому стоило только взглянуть на красотку или положить на нее руку, как она тут же начинала трепетать и исполнять если не песнь песней, то уж песнь торжествующей любви с многократным припевом. Словом, дамы любили преподносить любимому мужчине свое самое заветное. Их этому в детстве научили мамы. Не будем же мы их за это осуждать?

Фаина не трепетала и не преподносила. Она, слава богу, жила с папой. И вообще была язва. Она не замечала его ухаживаний, его слов, его стараний, его страстных взглядов и подергиваний. Этого всего могло хватить на целое женское общежитие, но над ней проносилось, как жаркий ветер над холодным утесом, не оставляя следа. Гвазаву порой трясло от яростного прилива крови, но самолюбие не позволяло ему раскиснуть настолько, чтобы предложить что-нибудь серьезное. Руку и сердце, например. Руку-то он уже раз протянул и спас, должна помнить в конце концов. Самолюбие не позволяло сделать это по единственной причине: Савва не пережил бы отказа. А что Фаина откажет – он был уверен на все сто. Разумеется, Гвазава не сыпал пепел на голову и не удалялся в пещеры. Утешение он находил попеременно то в объятиях бойкой, сравнительно свеженькой кассирши из торгового центра (пигалицы в начале ума), то в объятиях влиятельной, хорошо прокопченной дорогими сигаретами директрисы молодежного кафе «Сигма» (бабы завершеного склада ума и неограниченных возможностей души и тела).

Как опытный гомеопат, лечащий болезнь ничтожными дозами вещества, вызывающего эту болезнь, Савва лечил свою большую любовь ничтожными дозами этого чувства, причем очень заботился о регулярности лечения. Его привлекали курсы. В студенческой общаге его привлекали и первый, и второй, и даже третий курсы. А потом уже только дипломницы, так как на четвертом и пятом курсах девицы вдруг начинали расставлять на жизненной дороге противопехотные мины и подбирать себе подорвавшихся мужиков в мужья. Девушкам же с младших курсов было тошно глядеть на своих одержимых учебой сокурсников, экономящих на обедах и транспорте. Одно немного коробило Гвазаву: в общаге девицы установили на него очередь, а он не любил жить по чужому расписанию – у него было свое.

У Саввы деньги не переводились. И тем не менее он их еще любил копить. «Свобода – это деньги. Деньги – это свобода. Чем больше денег – тем больше удовлетворение потребностей». Он не договаривал: «Чем больше удовлетворение потребностей (полнокровных дам), тем больше денег». Фаина прерывала его: «Твои потребности, Савушка, можно удовлетворить гнутым пятаком». После этого они месяц не виделись.

А на Первомай Гвазава пригласил Фаину в турпоход с общими знакомыми. Полдня плыли на теплоходе, потом вышли и разбили палатку на берегу реки Вологжи. Разожгли костер. Приготовили еду, чай, распечатали бутылки. Гвазава сидел рядом с Фаиной, прикасаясь к ее ноге, и потихоньку дурел. Фаина хохотала и с аппетитом уплетала ужин. У костра царил непринужденная веселая обстановка. Один Гвазава дрожал от нетерпения и ждал темной ночи. Спали в спальных мешках. Гвазава расстелил свой мешок рядом с Фаиным, в углу палатки.

Заботливо подложил еловые лапы, чтобы ночью не было холодно. Напившись, напевшись, насмеявшись, наевшись, легли уже за полночь. Через полчаса донеслось легкое посапывание и ровное дыхание спящих с левого бока. Гвазава приподнял голову. Ни черта не видно. Вроде все спят. Он посмотрел направо. Фаины словно и не было там. Даже не дышит. Темное пятно. Протянул руку, в темноте стараясь найти ее голову. Его руку встретила рука девушки, щит родины всегда начеку. Савва чувствовал, что она смотрит на него. Что-то шепчет. Савва подвинулся к ней и спросил тихо:

– Что?

– Не дури, – был ответ. – А то заору.

«Вот дура!» – подумал Гвазава, но руку убрал. Через десять минут он опять протянул руку и опять встретил отпор.

– Ты дашь спать мне, злыдень? – прошептала Фаина. – Караул, насилуют! – с фальшивым ужасом уже громче сказала она и засмеялась. А потом кулаком тюкнула его по макушке и коротко бросила, как собачке: – Все. Спать!

Гвазава страдал до утра. Но будить Фаину больше не решался. Самое ужасное было то, что весь женский парк находился черт-те где, в двенадцати часах ходу отсюда. «Кто мне заплатит за простой? Да чтоб я еще когда-нибудь...» – ругал себя последними словами отвергнутый Гвазава. Будить Фаину нельзя. Еще и вправду заорет или огреет чем. Она в темноте видит, похоже, как кошка. Одурев от нереализуемой близости, небритый и злой, он с утра увязался за ней мыть посуду к реке и, в виду безбрежного – из-за легкого тумана – речного простора, предложил ей руку и сердце.

– Что ж ты ночью не сказал об этом? – засмеялась Фаина. – Это же в корне меняет проблему.

Она потрогала Савушкину щетину и столкнула разомлевшего аспиранта в довольно-таки прохладную воду Вологжи, берег которой к утру сковался прозрачным тонким ледком. А потом хохотала возле костра, рассказывая, как Савушка ногой влез в кастрюлю, запнулся и плюхнулся в воду.

Гвазава, переодевшись, подсыхал у костра и нервно играл хвостом, как обиженный кот, которого ночью проигнорировала серая кошка. Фаина занялась софистикой и все допытывалась у него, можно ли подмочить уже подмоченную репутацию, и советовала обратиться к председателю месткома – тот получил недавно японские фены. Замечательный дизайн и мощность. Даже если обмочишься, подсушит в момент.

Подсохший без фена аспирант предложил Фаине прогуляться «под сень раки», раз законный брак невозможен, откладывается пока, поправился он. Глаза его горели таким желанием, что Фаине стало любопытно, но она фыркнула:

– Фи, Савушка! О чем ты? Что мы – пастушка и трубочист? Я признаю только голландские простыни.

– А я голландский сыр и голландскую живопись, вот с такими грудями и жопами! – мрачно сказал Гвазава и, свернувшись клубком у костра, ушел в себя. Благо, нашел местечко. Такой поворот не обескуражил настырного аспиранта. «В конце концов, – думал он, – отказ это начало согласия. Согласие придет, когда время придет. Не будем торопить время. Оно само поторопит нас. И то, чего не хотелось, вдруг обязательно захочется». Недаром Савва наполовину был грузин.

Прошло два месяца. Тополя рассеяли по всему городу свой пух. Все больше девушек ходило с красными припухшими глазами. Кое-кто уже обгорел на пляже. Облезли плечи, животы, груди, руки, ноги, облупились носы – словом, все, что было выставлено наружу для обозрения и обновления. Кое-кто догорал в работе, на носу был сезон отпусков. Начались гастроли столичных артистов и музыкантов. Как выражался Филолог, местная знаменитость, «маэстро и мэтры, в штанах полуметры, начали чес по провинции». Билетов было не достать.

У кого была проблема с «достать». Билеты доставал Гвазава. Если б, конечно, Фаина захотела сама достать, ей подарили бы целую книжечку таких билетов, с автографами, но пусть и дружок постарается.

На концерте Святослава Рихтера они сидели на лучших местах, среди лучших людей, ловили лучшие звуки, переживали лучшие мгновения в жизни. Рихтер красиво ронял руки на клавиши и красиво держал голову. Это отметили две критикессы, любящие писать о музыке и музыкантах. (Я всю жизнь не переставал удивляться, откуда они берут столько восторженных слов? Не иначе как из горного воздуха зеленого Геликона и двуглавого Парнаса и торжественных звуков кифары златокудрого Аполлона?)

После концерта Фаина пригласила Савву к себе домой. Гвазава поздравил себя: первый раз идет в гости к дочке академика. Гвазава с почтением окинул взглядом дворик, коттедж, веранду, цветник. К этим вещам он относился серьезно. За деревьями золотилось в лучах заходящего солнца озеро, в ясном небе высоко-высоко летали ласточки, и воздух был свеж и его было много, почти как в горах, здесь хотелось жить, выходить утром на веранду, потягиваться, а вечером, покачавшись в кресле-качалке и выкурив сигару, говорить спокойному закату «доброй ночи» и заходить в дом, в котором *volens-nolens* чувствуешь себя человеком.

Дома никого не было. На столе лежала записка: «Буду послезавтра. Позвони в Москву Наде. Что привезти? Лобзаю. Батюшка».

– Вот так всегда, – с нескрываемой досадой сказала Фаина. – Толком никогда не попрощается.

Фаине было обидно, что отец до сих пор считает ее ребенком и не впускает в свой обширный мир замыслов и неожиданных решений. Она давно уже хотела съездить в Москву вместе с ним и провести вместе время, хотя бы в дороге.

Гвазава Фаинина меланхолия по поводу отъезда отца, а пуще того – собственно само отсутствие Сливинского, – придали решительности, отсутствие которой уже почти наделило его в общении с Фаиной комплексом неполноценности. Девчонка! А ничего не сделаешь. Прямо Брестская крепость. «Вот сейчас. Сейчас», – думал он, как семиклассник.

– Фаина!..

– Хочешь кофе?

– Кофе?.. Хочу. Я все хочу. Ты, наверное, никогда не спросишь: хочешь борщ?

– Хочешь борща? Ты голодный? Борщ есть, вчерашний.

– Я голодный. Но спасибо, я больше кофе хочу.

Пока хозяйка собирала на малахитовый столик, Гвазава бродил по громадному коридору. Да, мыслям тут просторно. Потом сел на велосипед и прокатился, звоня на поворотах. Подъехав к столику, он поставил велосипед к стене (сто двадцать метров жилой площади на двух этажах, если не больше) и обратился с поразившим его самого пафосом – помнишь, остров Пафос – к Фаине:

– Высшее назначение человека – это любовь...

– Да что ты говоришь? – удивилась Фаина. – Любовь?

– Да, только любовь. Она одна. А тут занимаешься физикой, понимаешь. У нас на Кавказе люди правильно живут, воздухом чистым живут, барашком жирным живут, вином виноградным божественным живут, любовью живут... – Гвазава заговорил с грузинским акцентом. – А в науке, вах, мало любви.

Фаина рассмеялась:

– Ну что ты мелешь, Савушка? Наука без любви – бордель. Так что ты тогда – кто? – Фаина весело глядела в сузившиеся глаза аспиранта. – Не злись, Савушка, я не люблю тебя. Я никого не люблю... Да и юна я еще.

«Угу, – подумал Гвазава. – Юна – юна, зад, как у вьюна».

– И потом, давай по-честному, как друзья. Зачем я тебе?.. Тебе что, баб не хватает?

Савва при ее словах «зачем я тебе» сказал: «О-о!», развернул грудь и растопырил руки шире хребтов Кавказа, а при фразе «тебе что, баб не хватает» сказал: «Э-э...» и руки спрятал за спину, в самую узкую расщелину. Несносная девчонка рассмеялась:

– Вот то-то и оно. Сначала «О-о!», а потом «Э-э...». Есть французская поговорка (ты же любишь все французское) о том, что женщина – это хорошо накрытый стол, на который смотришь по-разному до обеда и после него. Но у тебя это изящнее получилось: О-о! – Э-э... Знаешь, не хочется быть скатертью, на которой остаются пятна и с которой потом сметают крошки, перед тем как засунуть в ящик с грязным бельем.

– Конечно, ты хочешь быть вечно сложенной накрахмаленной скатертью.

– И не это главное, – улыбнулась Фаина, в нее сегодня вселился бесенок. – Раз мы друзья и у нас пошло начистоту, главное – породниться хочешь с академиком?

Вечер окончательно был испорчен, потерян, не стало вечера. И никто не вернет его, даже утро, что мудренее его. Савва готов был спалить дом шефа вместе с его дочкой или пойти утопиться.

Вместо этого он пошел к директрисе кафе. Та, после ванны с французской пеной и вечернего чая с бисквитом, готовилась к сладкому покойному сну на мягкой постели и уже взбивала подушки, когда раздался поздний, но желанный, звонок в дверь. «Это я. Твой шампурчик!» И столько в этот раз в Гвазава было мужской злости и силы, что директриса наутро была как взбитые сливки. Всем работникам кафе она бесплатно выдала по банке индийского растворимого кофе, а обедать пошла домой и на работу, понятно, не вернулась.

Фаине было и досадно, и смешно. В этом году все знакомые мужчины как взбесились. Год взбесившихся мужчин. Такими мыслями обычно занята голова тридцатилетней незамужней женщины: ей кажется, что все мужчины созданы исключительно для того, чтобы вращаться вокруг нее, повинувшись центростремительной силе ее обаяния. Но, как видно, и двадцатилетние хорошенькие головки не свободны от подобных иллюзий. Мало того, они даже негодуют (в отличие от тридцатилетних) по этому поводу. «Не покорила я!» – Фаина яростно тряхнула рыжей гривой и цокнула копытцем. Если бы кто сейчас заглянул в окно или дверь коттеджа, что крайний у озера, то услышал бы ржанье и увидел, как дикая кобылица, высекая искры из серого бульжника будней, летит быстрее ветра к синей черте далеких гор. Может, даже и Кавказа. А позади на равнине, на ста двадцати метрах голой жилой площади, расплзлось мокрое пятно, и над ним летают зеленые мухи. Да-да, Фаина в такие минуты превращалась в необъезженную кобылицу, от которой нельзя оторвать глаз и смотреть на которую страшно. Так думала Фаина и улыбалась: как можно высекать искры неподкованным копытцем? И все-таки высекала!

\*\*\*

Гвазава возвращался от директрисы, мрачно задумавшись. Он сидел в троллейбусе на заднем сиденье, с краю. Сиденье у окна было занято каким-то ящиком с висячим замком. Савва терпеть не мог это место: здесь то и дело бились о плечо, по коленкам стукали портфелями и сумками, заезжали в ухо локтями, наступали на ноги, дышали, глазели, терлись, напирали, толкали, передавали туда-сюда копейки и билетки. Но все равно это лучше, чем болтаться, как сосиска, на поручне, зажатый со всех сторон потными и злобными согражданами. В общественном транспорте возить только баранов, да и с тех-то потом шерсти клоки – и того не будет, а мясо – горечь одна, но уж если едешь, надо ехать сидя. Всякие же там уступки женщинам, старикам – ненужный архаизм, рудимент. Понятно, уступить место какой-нибудь Софи Лорен со Стрельбищенского или рассыпающемуся от старости и мыслей академику – смысл и последствия имело. Но дело в том, что красавицы с немислимым бюстом и академики с немислимыми мозгами, как правило, в общественном транспорте ездят редко, поэтому Гвазава спокойно сидел и не рыпался. Он ненавидел тех, кто наступал ему на ноги и пачкал туфли.

У него тут был пунктик. Савва полагал, что у мужчины два места должны быть чисты – бритый подбородок и туфли. Совесть – спросишь ты? Это архаизм, рудимент.

Краем глаза Гвазава почувствовал, что рядом с ним остановилось нечто, не похожее на обычное среднестатистическое тело. Осторожно, не поворачивая головы, Савва попытался разглядеть это чудо. Так и есть, пьянчуга, наверное. Калека – не калека, опирается на палку, рука красная, в буграх вен, видно, тяжело опираться – то ли ноги не держат, то ли пьян, то ли черт его знает что еще. Ишь, как качается. Он воображает, наверное, что вышел в море. Все-таки, похоже, ноги больные. Паралитик, что ли? Запашок какой-то несвежий от него.

Не поднимая глаз, Гвазава чувствовал, что мужчина в упор, с ненавистью глядит на него. Это должно быть невысокий, невзрачный мужичонка, с азиатским лицом в морщинах, калека, к тому же алкаш, разумеется. Образ был создан. Но образ ни слова, ни звука пока не произнес, паразит.

Савве в какую-то долю секунды показалось, что он стал воспринимать некую лавину ярости и гнева, исходящую от соседа. Был даже момент, когда Гвазава чуть было не встал и не уступил место калекке, но что-то зацепилось, не распрямило его, а уже в следующее мгновение он понял, что сам с такой же ненавистью думает об этом стоящем рядом безликом теле, и с такой же яростью, с какой оно смотрит на него, с такой же яростью не хочет даже взглянуть на него, а тем более встать и уступить место. Савва сказал себе: «Да, теперь я понимаю ярость людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Хоть ты сдохни тут – не встану!» – решил он.

Мужчину толкали, но он молчал и, напряженившись, как шпага, дрожал, готовый пронзить каждого, кто столкнет его с места. Рука вцепилась в поручень так, что казалось, вот-вот выдерет его вместе со спинкой сиденья. Другая рука с палочкой ходила ходуном.

Через остановку была конечная. Гвазава стал готовиться к выходу. Окружающая обстановка его тяготила. Встал. Так и есть, мужичок с ноготок, на голову ниже его, щупленький и обтерханный. Но глаза его горели, как у разбойника, и рука мертвой хваткой держала поручень. Пассажир не пропускал Гвазаву. Все выходили, спеша и толкаясь. Мужик не торопился, он ждал, пока все выйдут. Гвазава стоял и тоже ждал и смотрел в окно. Мужчина, наконец, развернулся на своей палке и выкинул себя из троллейбуса, широко вихляя парализованными ногами.

Сегодня, слава богу, никто не оттоптал ноги. Туфли у Гвазавы были без единого пятнышка.

## Глава 16. Год взбесившихся мужчин, или Париж стоит обедни

Напрасно Фаина назвала этот год «годом взбесившихся мужчин». Закваска года была в ней самой. Она не замечала за собой, как с любопытством, по сути еще совсем детским, сама первая смотрит на окружающих мужчин, даже не смотрит, поглядывает, шаловливо постреливает глазками, а тем многого и не надо – бросят на них взгляд или цветок, и уже роман или опера готова. Для Фаины это была игра, продолжение детства, робкая попытка применить прочитанное к жизни, средство от скуки, потребность в страдании еще не наполненной реальными страданиями души. А для мужчины, извините, игра может быть где угодно – на футбольном поле, за карточным столом, на дуэли, на партийном собрании – только не в женских дьявольских глазах. Там, где первобытный инстинкт, там какая игра? Дело в том, что встречаются еще женщины, которым стоит взглянуть на мужчину, и он перевернет мир. Фаина принадлежала именно к таким редким женщинам, но пока не догадывалась об этом. Хорошо, она не догадывалась, это ее проблемы, а мужик-то уже ради нее мир перевернул! И, оказывается, напрасно?! Как тут не взбеситься, товарищи?

Преыдуший взбесившийся мужчина был Филолог. Это был видный филолог, краснобай и повеса. Язык, как говорится, у него был хотя и без костей, но щучьих зубок поострей. Короче, подвешен был хорошо. Когда Филолог нарочито однотонно, как бы устало, красиво говорил о любом пустяке – пустяк превращался в нечто значительное, а в воздухе ткалось что-то изящное и причудливое, как старинный японский рисунок в черной туши. Филолога постоянно просили поздравлять почетных юбиляров и выступать с докладами о возросшем культурном уровне горожан. Он поздравлял и выступал без всякой подготовки, экспромтом. Надо сказать четыре изящно зарифмованные строчки – он выдавал эти строчки, и местным поэтам оставалось только жевать зубочистки и спички; надо было сорок пять минут говорить о работе над переводами Горация – он сорок пять минут говорил о вкладе в это благородное дело стихотворцев-переводчиков переделкинского кружка так, будто сам был членом этого кружка; надо было прочитать курс сравнительной мифологии – он брал этот курс и в течение сорока восьми часов выстраивал сложное, хотя и достаточно хрупкое архитектурное сооружение, к которому боялись притронуться руками, как к карточному домику, известнейшие ученые античники и востоковеды. Поскольку Филолог разбирался в мифологиях древнего мира и прекрасно знал все сплетни современного, его травести, аллюзии и сентенции непрерывно щекотали слушателям и собеседникам уши и нервишки всякими аналогиями, перифразами, двусмысленностями. В век двусмысленностей цена на них растет. А аналогии занимают площадь, равную площади всех национальных парков. Он был всегда на высоте, и вел игру красиво, на грани фола. За сказанным виделась многослойность, угадывалась недосказанность, чувствовалась незаурядная эрудиция и очень живой ум. Словом, был он прирожденный рассказчик, трепач божьей милостью.

\*\*\*

Рассказчик замолк.

– Слушай, – сказал я. – Мне знаком этот образ.

– Что ж, я рад за тебя. Поехали дальше.

\*\*\*

Сорокалетний Филолог был одинок и изрядно потерт жизнью, наполненной филологией, женщинами и их мужьями, но очень хорошо сохранился: ни грамма жира, волос волнистый, густой, несколько благородных сединок в бакенбардах, в лице что-то от Пастернака, страдающего Пастернака. Крупный с горбинкой нос, который безотчетно нравится женщинам. Походка

легкая, не летящая, как у Фаины, но пружинистая, и в то же время как бы усталая от постоянной природной легкости. «Эта усталость, – подчеркивал он и голосом, и взглядом, и походкой, и манерой общения, – идет от жизни, тут ничего не поделаешь, приходится терпеть, по заслугам все равно воздастся только потом, после...» Но были, были моменты, когда взгляд резал, как бритва, когда стена была не стена, когда трудно было разжать сжатые кулаки. Впрочем, таких моментов было немного. Потому что по конституции своей Филолог сильных напряжений не вынес бы физически.

На него приятно было посмотреть. Элегантные, знающие себе цену, хорошо держащиеся мужчины обычно раздражают, так же как и женщины, напористо-говорливые и пышущие здоровьем. А он знал во всем чувство меры. Безукоризненно одет, в серое с голубым. И какое-нибудь маленькое яркое, но не чрезмерно, пятно: часы, перстень, галстук, запонки, ручка – но не все вместе, а что-нибудь одно. Зонтик – по погоде – не толстый стреляющий коротышка, а длинный, с великолепной резной ручкой благородного дерева. Его видели всегда только с роскошными женщинами. Не роскошные женщины для него, наверное, просто не существовали. Он был предупредителен и полон обаяния. У женщин глаза светились счастьем. И он никогда, в отличие от Гвазавы, не позволял себе ничего с новой знакомой, если со старой позволил еще не все. «Дискретное постоянство, – говорил он, – основа постоянства дискретности. И цельности натуры». «Так вернее будешь целым и невредимым», – говорил его друг, зав. кафедрой института, профессор.

Дом ученых (ДУ), членами которого были главным образом мужчины, достигшие степеней известных, и клуб изящной словесности (КИС), украшением которого в известной степени были незамужние аспирантки, студентки и актрисочки, сокращенно «киски», зафрахтовали на две недели лучший теплоход пароходства – «Феофан» (это было не имя иконописца Грека, а фамилия первого председателя колхоза «Заветы Ильича», убитого при невыясненных обстоятельствах на чужом подворье). Этот рейс называли «погружением», подразумевая погружение в пучину английского языка на целых две недели. Председательствовал зам. директора одного из институтов филиала, директор Дома ученых, которого за глаза называли Дуче, впрочем, непонятно за что.

О «погружении» известно было с зимы, и попасть на теплоход было труднее, чем в Пицунду. Тем более, путевочки обходились всего ничего члену ДУ и совсем мало «киске».

Желающих на халяву погрузиться в язык Шекспира и Томаса Мора было в несколько раз больше числа знающих этот язык. Причем многие из этих знающих произносили английские слова так, будто у них рот был набит горячей картошкой. Разумеется, в рейс попали и случайные люди, которые английские слова выговаривали хуже русских. Но были и знатоки диалектов, знатоки староанглийского, как ни странно. Филолог, например, по памяти шпарил Стерна или Попа, довольно заковыристых даже в русском пересказе.

Обслуживание по высшему классу, где-то между лучшими отелями Прибалтики и средиземноморским круизом, клубника в корзинках, золотое шампанское в серебряных ведерках с колотым льдом, говяжьи заливные языки (без малейшего намека на «погруженцев»), вечера поэзии и музыки, полезные и приятные знакомства, шумные вылазки на берег и волнительные экскурсии на природу, живительные солнце, воздух, вода, острые закуски, приправленные еще и острым словцом, и бронебойные фирменные блюда, после которых забываешь о поисках смысла жизни, запах наконец-то донесшихся из Франции французских духов и французского же коньяка, потрясающее французское белье, на поверку оказавшееся русским, как и то, что было под ним, и цветы, цветы, цветы...

Одно было условие: все пассажиры обязаны были говорить только по-английски – будь то интеллектуальная беседа о религиозных воззрениях шотландских пресвитериан или шалостях Оскара Уайльда, либо выяснение отношений в стесненных условиях каюты или на просторе в кустах. Слово, произнесенное по-русски, каралось штрафом: провинившийся должен был

вечером спеть по-английски, сплясать как угодно, рассказать английский анекдот или «сыграть в мешок» (имеется в виду не мешок на голову и – за борт, а ноги в мешок и – по палубе). Все предпочитали почему-то прыгать в мешках.

На команду теплохода, естественно, правила «погружения» не распространялись. Да ее никто и не видел, команду-то. Команда была занята своим незаметным делом и все понимала вообще без всяких слов. Кораблик, он, знай, бежит себе в волнах, на поднятых парусах. Капитан Федор Иванович Дерейкин был вхож всюду, и поскольку из английского языка он знал наверное только одно слово «студебеккер», у него было право обращаться к любому пассажиру на русском языке, которым он так ни разу и не воспользовался, так как все время молчал и думал.

Капитана все по-простому звали Дрейком, а кто с ним был покороче – Филолог и зав. кафедрой мединститута Борисов, с которыми он обычно расписывал «пульку», – Фрэнком. Дрейк как-то заглянул в концертный зал. Там шло очередное «погружение». «Хватает же им воздуху», – подумал капитан. О чем-то спорили. Дрейк долго стоял в дверях, наклонив голову. И слушал тарабарщину, пытаюсь поймать хоть одно знакомое слово. Но слова были дикие, как мустанги, и не ловились. «Студебеккер» так ни разу и не выехал. Потом показывали слайды, сопровождая их сложной музыкой и обстоятельными разъяснениями. На слайдах было очень много голых женщин, до неприличия, с желтым или белым, обязательно крупным, телом, то на фоне мужчины, закованного наглухо в черные блестящие доспехи («На твоём фоне», – Рассказчик похлопал меня по наплечнику), то на зеленой траве среди одетых мужчин. Попадались и голые мужчины, иногда весьма страшные и даже вроде как с козлиными ногами – вроде и черти, и не черти. А в воздухе летали пухлые румяные мальчишки-педерастики с круглыми попками и с детскими луками. Картинки были развлекательные, но почему-то никто не улыбался. И было расслабившийся Дрейк тоже нахмурил брови. Потом вышел певец, о чем-то пошутил и запел. Капитан чуть не оглох. Певец орал так, точно из него тянули кишки. Дрейк вышел на свежий воздух и вытер пот. Был чудесный летний вечер. В сумерках знакомые берега были сказочно неузнаваемые. Чего они парятся там?..

Сумерки любил не один Дрейк. По палубе бродили пары, сидели в широких легких креслах сразу по двое, как будто им мало было свободных кресел. Во мраке салона был свет, а на палубе среди полумрака – представители полусвета. Дрейк встрепенулся, услышав шепот на родном языке.

– Свои! – сказал он вслух.

«Свои» замолкли. Одно точно знал Дрейк, что на теплоходе не было ни одной женщины, из-за которой он, не сейчас, конечно, нет, лет двадцать назад, может, и потерял бы голову. Да разве это женщины! Дрейк тоже любил стихи, особенно те, где описывались женщины, которых в природе больше нет, их тонкие лица, тонкие руки, шумящие платья. Сейчас они и платьем-то не шумят, а шуршат, как змеи, своими джинсами.

Действительно, стояли пленительные летние вечера. Вернее, они проплывали за бортом, как сказка. И все, что было за бортом, казалось нереальным, а все, что было на палубе и в каютах, казалось данным на веки вечные. И только утром, перед восходом солнца, кому-нибудь нет-нет да и стукнет в голову, что все иллюзия, и ничего этого нет, не было и не будет. Но не будем об этом.

В первые дни «погружения» на теплоходе царил атмосфера радостного возбуждения и всеобщей влюбленности. Кристаллизовались центры общения и полюса притяжения. На второй вечер вокруг Фаины уже увивалась и золотая молодежь в синем и белом, и кто постарше, серые и гладкие, и один серьезный мужчина с серьезными намерениями – из лидеров, с густой серебристой шерстью, как у гориллы, – стрелки брюк его были прямы, как острия мечей, и так же грозно передвигались по палубе. После легких градусов спиртного всех, понятно, охватывало возбуждение легкого флирта. И все шалили. Шалунами вдруг стали все. Фаина была в

своем амплуа: она шалила со всеми, будто вокруг нее собрались одни дети. Глаза ее светились ровным светом, но каждый воспринимал их блеск только на свой счет. Совсем как прохожие, которые смотрят на фонарь (если сравнить грубо). Многие потеряли сон, но ведь это благо, если задуматься и оставить в стороне заботу о здоровье.

Филолог знал ее в лицо давно. Не представлялось случая изящно познакомиться. Еще года два назад на одном из вечеров в Доме ученых он увидел грациозную даму, идущую с обворожительной улыбкой по проходу между креслами. Ей тогда не было и восемнадцати. Неужели это дочка Сливинского? Да-да, дочка, сказал кто-то, очень похожа на мать, но умом, к сожалению, в отца. Филолог рассеянно подумал: «Почему, к сожалению?» В тот же вечер он случайно поднялся на второй этаж и увидел ее сидящей в задумчивости за пианино. Белые длинные пальцы сильно изогнутой худощавой кисти, на фоне черной крышки, неторопливо перебирали клавиши, рождая задумчивую мелодию, – Филологу эта белая кисть с тонкими пальцами напомнила белого паука, без спросу забравшегося к нему в душу и оплетающего ее сладкой клейкой паутиной страсти. Он не решился приблизиться к Фаине и несколько минут очарованно смотрел на нее, а потом тихо ушел. На этаже, кроме них, не было ни души, и это обстоятельство поразило Филолога: это был знак судьбы.

Особого изящества, как он хотел, при их знакомстве не получилось. Напротив, все было просто и даже суетливо. Познакомились и познакомились, как большинство, в первый же день. Фаине Филолог понравился. Казанова не может не понравиться. До этого она, естественно, видела его, и не раз – все-таки он был местная знаменитость, и даже на каком-то вечере они с отцом сидели рядом с ним, но тогда она была еще подростком, на которого вряд ли Филолог обратил внимание. К тому же, с ним была дама; дама то и дело наклоняла голову, обнажая из-под мехового боа лебединую шею.

Филолог безошибочно угадывал, нравится он женщине или нет, и сколько потребуется усилий, и усилий какого рода, чтобы ей понравиться. Раз Фаина отнеслась к нему благосклонно, он не стал увиваться вокруг нее ужом, как поступил бы какой-нибудь обласканный малец, а стал формировать рядом с Фаиной противоположный полюс, чтобы вернее создать сильное поле взаимного притяжения. Все эти порхающие самцы-мотыльки, хромые козлы и козлики-молокососы, только усиливали общее настроение праздного тревобления и раскрашивали фон в восточные ярко-сладкие тона, возбуждающие аппетит. Когда весь антураж был готов, Филолог распустил хвост красноречия и... потерпел фиаско. Фаине претила вычурность, даже остроумная. Ей нравилось скользить по поверхности, ее привлекала скорость, пусть даже с риском свернуть себе шею. Ни на чем не задерживаться, ничего не смаковать, ни во что не углубляться (кроме ее любимых книг, разумеется). Главное – поспеть всюду и всегда быть на виду. Не важно, что брошено позади, важно, что маячит впереди. Как это: белеет парус – пусть даже одинокий. Собственно, что еще можно ожидать от молоденькой и красивой женщины, которой еще так далеко до одинокой старости? Если вдруг и всплывет на мгновение, как укол, образ сухонькой седенькой старушки, он тут же и растает без следа, оставив в душе странную романтическую приподнятость, не имеющую ничего общего с действительностью.

Филолог так и не понял: перестарался он или, наоборот, что-то не учел. Он работал под средний уровень дамского интеллекта, плюс довесок на домашнее образование дочери академика. Весьма логично, но... В самом деле, чего проще сказать о том, что любишь голым загорать до черноты: «Люблю загорать голым до черноты!» У кого развито воображение, тому это понравится. Конечно, при желании какой-нибудь психолог бессознательного мог сделать из этой фразы вывод о том, что человек, произнесший ее, во-первых, любит загорать, так как получает от близких мало тепла и света; во-вторых, он сторонник нудизма, то есть ощущает постоянный дискомфорт с окружением, зажат и застегнут на верхнюю пуговицу; и в-третьих, ему нравятся негры (не будем, однако, углубляться в психоаналитические сложности этого аспекта). Филолог шел дальше таких тривиальностей. Он вспоминал бога солнца, и не одного,

в качестве примера, а добрый десяток со всего света – и уставшего от людей солнцезбога Ра, и всевидящего Гелиоса, и эротическую Амаэрасу, и прыщавого Нанауатзина, и Вишну, который непонятно что, особенно для воложилинских барышень, то ли солнце, то ли его тождество, то ли глаз Брахмы. После всего этого солнечного фейерверка Филолог призывал покрывать все тело, от шеи до пят, ровным загаром, как древние греки покрывали краской свои статуи. А в конце следовал призыв: загорайте без одежд!

– Без трусов? – уточнял Дуче.

Филолог морщился. У стариков слабые ляжки, но говорить об этом...

– Без туники, – догадывался зам. директора.

Фаина не выдержала:

– Какая, друг мой, разница: лицо блей иль задница!

У Филолога заблестели глаза – перед ним был простор прерий, и кони сыты, бьют копытом... Но тут кто-то из вечно юных оболтусов, с приличным (благодаря стараниям папеньки-академика и маменьки-академши, и спецшколы с языковым уклоном, и, понятно, общим развитием) знанием языка, заметил, что теперь, по прошествии стольких веков, все равно, были окрашены статуи или не были. Цвет-то не сохранился, и нас сейчас привлекает больше форма, а не цвет.

Филолог, раздосадованный тем, что влезли вперед него, отбрил мальчишку:

– Ну, мой дорогой, по прошествии веков от женского тела требовать еще и цвета! Да ты гурман. Благодаренье всем богам (к счастью, Филолог не стал их всех перечислять), что они сохранили свою форму. Женщины знают, как это трудно. «Какую дичь порю», – подумал Филолог.

Молодчик оказался в затруднительном положении, так как Филолог повторил то же самое, что и он сказал, только как-то более выразительно, покружавистее, что ли. И потом – речь, артикуляция, каждое слово, что шарик ртути, – выпукло, весомо, блестит и... опасно, если вдруг попробуешь убрать его. Да и нельзя забывать о магнетическом воздействии Филолога на слушателей, независимо от того, что он говорил. Пули одни и те же, стволы вот разные.

Молодчик все же не остался в долгу (настырный молодой человек!) и припомнил, что в «Вазир-Мухтаре» все эти статуи сравнивали, кажется, с пасхальным яичком, с которого отвалилась скорлупа.

– Не с яичком, – улыбнулся Филолог. – Венер сравнивали с крашеными сапогами, с которых облупилась краска. Хотя пасхальное яичко тоже остроумно. Поздравляю.

– Какой, какой Мухтар? – заволновалась секретарь по идеологии, с акцентом средней школы. – «Ко мне, Мухтар» который? С Никулиным?

– К вам, к вам который, – кивнул Филолог, изучая ванильную сдобу с идеологической начинкой, начисто лишенной изюминок, и ему вдруг очень захотелось ржаного сухаря или черную краюху, натертую чесноком и посыпанную солью. А еще послать весь этот шестикратный амфибрахий ясным пушкинским трехстопным ямбом. «Что я тут делаю?» – подумал он, с тоской чувствуя, что номер не прошел, и что он сам сейчас выглядит, как облупленное яичко.

\*\*\*

Сколько веревочке ни виться, что суждено – тому и сбыться. На пятый день «погружения» Филолог привел Фаину к себе в каюту показать альбом с репродукциями. Альбом с репродукциями многими дамами воспринимался как красивая обложка огромного альбома любви, приступить к которому можно было только после того, как перелистаешь альбом маленький, с картинками, и Филолог охотно способствовал этому. Он любил всякие прелюдии, интродукции и прологи. Главное-то было за ними! На столике лежал раскрытый альбом, изданный в Лейпциге, в ведерке со льдом стояла бутылка «Золотого шампанского», рядом ваза с пушистыми персиками, на блюдечке горкой орехи. Кому-то сейчас это покажется бедно, но тогда это было богато. «Изящно», – подумала Фаина. На отличных репродукциях главным

образом были женщины, прекрасные и загадочные. Филолог заметил, что это прекрасно – выхватить миг из жизни красавицы и продлить его в вечность, как дельта-функцию...

– Что это такое? – спросила Фаина.

– Что-то вроде прозрения или поясничного остеохондроза, – пояснил Филолог. (Фаине понравилось объяснение). – Женщину можно почувствовать только в динамике. Ведь даже в падении женщина прекрасна, как осенний лист или звезда.

– Падающие звезды – это падшие ангелы, – улыбнулась Фаина. – А ангелы бесполы, как и осенние листья. Так что, Филолог, сравнивать нас с листьями и даже со звездами не совсем корректно.

Бесспорно, Фаина приняла игру, и Филолог тонко, как паук, но не тот белый, что оплел его душу, а другой, повел нить рассуждений, казалось бы, на диаметрально противоположный своим намерениям предмет – аскетизм и добродетель, и стал этот аскетизм и добродетель прошивать черными стежками, черным крестиком и черной гладью. Иногда, в мгновения просветления, когда он видел и себя, и Фаину как бы со стороны и в очень ярком освещении, как при блеске молнии, он думал: «Боже, что я делаю? Это ж моя погибель», но продолжал делать начатое. Он всегда доводил любое дело до логического конца, может, потому что там, где был конец логике, там и начиналась истинная филология. Да и вообще все истинное начинается только там. Недаром в начале было слово.

– Добродетель привлекательна не потому, что доставляет наслаждение, – процитировал он Сенеку, – а наоборот, она доставляет наслаждение благодаря своей привлекательности. Другое дело, конечно, – продолжал Филолог, – есть ли в добродетели удовольствие? Согласись, Фаина, если бы в нашей жизни не было удовольствий, можно было бы удавиться от скуки. Но с другой стороны, несчастными нас делает не отсутствие удовольствий, а их избыток.

Филолог собирался еще какое-то время жонглировать подобными рассуждениями, но, к его удивлению, Фаина вдруг сказала:

– Мы что, Сенеку сюда пришли цитировать? Я думала, шампанское пить.

Филолог невольно торопливо, досадуя на себя за это, откупорил бутылку и налил вина. Чувства и мысли его несколько смешались.

– А! Божественно, – сказала Фаина. – Вот это совсем другое дело... Блаженный Аврелий Августин утверждал, что лучше быть рабом у человека, чем у похоти.

«Вот те раз!» – подумал Филолог. Фаина заметила его удивленное замешательство и слегка, но удовлетворенно улыбнулась. «Да она змея!» – похолодел Филолог.

– Святой Августин, говоришь... – сказал он, думая о чем-то неуловимом. – Аскетизм, Фаина, в конечном итоге не что иное как медленное самоубийство. А это, согласись, грех.

– Почему же медленное? – возразила Фаина. – Это у кого как. Есть люди предрасположенные к аскетизму, а есть – не предрасположенные. Для последних – это быстрое самоубийство. Может даже, мгновенное. А в этом случае это не будет грех. Грех всегда обдуман заранее.

«А ведь она права», – подумал Филолог. Фаина же продолжала:

– И потом, самоубийство – это следствие. Следствие не может быть грехом. А причина совсем в ином. Кто это сказал: настоящее удовольствие – это презрение к удовольствиям? Где же тут грех? Тут высота духа.

Филолог решил попробовать обходной маневр:

– А вот интересно, была бы греховна связь Адама и Евы до их грехопадения, – сказал искуситель, протягивая Фаине персик, – то есть до того, как они вкусили запретного плода и их воля перестала властвовать над телом?

Фаина снисходительно улыбнулась.

– Вы мне предлагаете вместо яблока персик – соблазнитель! – в надежде, что он парализует мою волю? А если наоборот? Давайте лучше помолчим. В молчании нет банальности.

– Хм, занятно... Сознаюсь – это не в связи с нашей темой разговора – нет ничего выше, как утолить голод ума...

– Есть что и повыше, – возразила Фаина, – утолить голод тела.

Филолог смотрел на нее. Она смеялась. Ему ничего не хотелось больше говорить, а только обнять ее, сжать... «К черту град земной, к черту град небесный. К черту, к черту!.. Сжать так ее в объятиях, чтоб кости затрещали, чтоб брызнул из нее персиковый сок, и чтоб коготки ее кошачьи оставили на спине незаживающий след... Мазохизм какой-то, – встряхнул головой Филолог. – Амбивалентность чувств». Да, амбивалентность чувств, желание ласкать ее и желание ударить, почти любовь и почти ненависть, страсть, одним словом, лишила его способности рассуждать логично. Логика может быть страстной, но страсть логической – никогда!

И, забыв про аскетизм и добродетель, он понес про Трою, Тулузу, сельского попа, тройку в снежном бурене – все они были связаны как-то с чьей-то страстью, жертвоприношением, бессмертием. Были и цыгане, и фавны, и Реконкиста, и нирвана, и жемчуг Клеопатры, и утес Сапфо. Много чего было, чего не надо было.

Фаина устала слушать филологические бредни.

– Филолог, вы меня утомили. Как вы думаете, Александр Сергеевич дамам стихи читал или?.. Как говорит наша буфетчица: «А чевой-то вы хотите?»

– Фаина, почему ты мне говоришь – вы? Мы же договорились. И почему – «Филолог»?

– Опять вы ушли от ответа, Филолог. А как же мне вас называть? Президент республики? И говорю – вы – потому что мне показалось, что вы тут не один, а вас целый Ученый совет. Голова пухнет от умных разговоров, суть которых одна: отдаться вам. Так и скажите! Что вилять вокруг да около? Вот только дело в том, что я не могу отдаться сразу всему Ученому совету. При всем вашем и даже, будь оно у меня, при всем моем желании.

– Удивительная ты девушка...

– Я удивительная? Это вы, мужики, удивительные создания. Почему вы считаете, раз женщине с вами интересно, то это объясняется исключительно вашими мужскими достоинствами? Как вы не можете понять простой истины: нам не ваши достоинства нужны – нам и своих хватает – нам надо в вас, как в зеркале, видеть себя. А в вас я не вижу себя. Вы весь какой-то матовый.

«Увы, я тоже не вижу себя в тебе. И не увижу, наверное».

– Удивительная ты девушка, Фаина. Ни с чем ты не соглашаешься, со всем-то ты несогласная.

– Говорят, вы хороший филолог, Филолог, и потому знаете: это только в алфавите согласные, да еще в коллективе. А я не со-гласная – совершенно верно. Гласная я! Звонкая гласная, пусть это вас, как филолога, не шокирует.

После этого Филолог два часа стоял перед ней на коленях, а Фаина сидела в кресле, поджав ноги, и хохотала, слушая его филологический бред, прерываемый мычанием самца, пока Филолог не протер на коленях штаны, пока не закипело шампанское, пока у обоих на глазах не выступили слезы: у Филолога – от обиды, ярости и любви, а у Фаины – от смеха и жалости.

Филолога все в Фаине сводило с ума: и чувственный издевательский смех, и поджатые ноги, и прелестные руки, и что-то, чему он не знал слов.

– Ты бесчувственная! – воскликнул утонченный Филолог. Голос его от обиды звенел, как тонкое чешское стекло. – Тебя бульдозером не стронешь с мертвой точки!

– Не надо бульдозера. Надо чувство. А у меня к вам жалость. Это сырые дрова – из них страсть не вспыхнет. Да и вообще, что такое любовь? Всего лишь реакция телец Руффины, Мейснера и дисков Меркеля. И при чем тут бульдозер и фавны? Неужели это интересно? Встаньте, у вас пузыри на коленях.

«Нравится мне, когда один черт досаждаёт другому. Я вижу тогда, который из них сильнее. Прав Мартин Лютер». Рубашка была на Филологе, хоть выжимай. «Пропарила!» – повторил он несколько раз про себя.

– Хорошие орешки! – прошептала Фаина и ушла.

Несколько дней судьба хранила их от встреч, но все же свела на верхней палубе в один из вечеров. На палубе никого кроме них не было. В концертном зале шел КВН. Солнце огромным красным диском валилось за темные верхушки леса. Мошара липла безбожно. Филолог был под мухой. Фаина на крыльях. Столкнулись нос к носу. Не разойтись. Как в патриархальном браке.

– Тебя, мою желанную, не зря зовут Светланой! – воскликнул Филолог. – Ой, что я? Катей? Зиной? Пардон, мадам, Фаиной.

– Гусарите? Вам сейчас любая женщина желанна. Как это по-вашему: было бы кому «засветланить»?

– Фома говаривал... Нет, не тот, святой Фома. Фома говаривал, что всякая женщина желанна. И не потому, что ее хочет мужчина. А мужчина ее и хочет только потому, что всякая женщина желанна.

– Вы что-то путаете, Филолог. Фома не о том говорил.

– Неважно.

Обсудили погоду, комаров, плавание, Дуче, Дрейка, вспомнили о трех любовницах академика Баума. Филолог весьма остроумно сравнил их с тремя пальмами Лермонтова. Это были три сестры – нет, не Ольга, Маша и Ирина Прозоровы, а Кручковские – Соня, Мила и Циля, погодки, девы под тридцать, как говорится, на возрасте, хорошенькие, в соку. И вот как-то к этим пальмам, а точнее – к их отцу (тоже, кстати, академику, лингвисту), который в это время был на симпозиуме в Риме, как-то неожиданно завернул караван верблюдов – не верблюдов, арабов – не арабов, а сам академик Миша Баум, физик, холостяк и бабник, и... «только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал».

– Эти сестрички – не пальмы, это три железных дерева, к ним сам Гвазава боится подступиться, – сказала Фаина.

– У Гвазавы-дровосек-са слабовато в части сек-са, – ухмыльнулся Филолог и рукой небрежно стряхнул будто бы травинку со своих брюк.

– Опять напились и хамите, ротмистр!

«Ротмистр» сказал:

– Кхе! – пожал плечами, развел руками, сделал идиотское лицо, шаркнул ногой. – Адье, мадам! – резко бросил голову на грудь, в знак расставания. – Пардон, мадам! – и, резко крутнувшись на пятке, качнулся и пошел, мрачно усмехаясь, в свою каюту.

Фаина была довольна этой встречей. Как будто унялся какой-то зуд, который не давал покоя.

Последующие дни Филолог ходил мрачный и молчаливый, избегая общества и трепа, старался не встречаться с Фаиной; когда встречался, молча кивал ей головой, а по вечерам пил водку – «яд философа развел он в алкоголе» – и играл в преферанс с Дуче, капитаном Дрейком и зав. кафедрой мединститута Борисовым. Дрейк после вахты расслаблялся – не пил, а так, потреблял самую малость, грамм сто пятьдесят, после чего позволял себе высказывать о пассажирах и особенно пассажирках все, что он думал, самыми заветными словами. Нагляделся он в жизни многого, но Ноев ковчег увидел впервые. Каждой твари по паре.

Филолог с профессором брали взятки и кивали согласно головами, а несыгранный мизер или неудачную распасовку сопровождали такими идиомами, что выдавший виды речной волк кричал и краснел от удовольствия. Рейс подходил к концу. Много воды утекло за десять дней.

– Одиннадцать миллиардов кубов. Примерно столько же тонн, – вычислил в уме Дуче. – В Амазонке за это же время – в семнадцать с половиной раз больше. Представляете?

Зав. кафедрой мединститута Борисов морщил нос:

– С трудом. Мне как-то привычнее считать в другой расфасовке. Хотя бы в литрах.

– Умножь на десять в третьей – получишь.

\*\*\*

Пассажиры за десять дней интеллектуально, да и физически, выдохлись. Все-таки погружение было связано с большой нагрузкой на организм. У кого-то он был еще неокрепший, а у кого-то уже изрядно расшатанный. Почему-то всегда ни в чем нет нормы. Слайды надоели, концерты опротивели, шутки обрыдли, мешки обтрепались, от английского языка пошли волдыри по коже. Пассажиры раскололись на три основные группы.

Первая группа – мужчины и женщины преимущественно среднего возраста и достатка, приличной комплекции и приличного положения, в штатной своей жизни озабоченные регулярным питанием и регулярными прогулками на свежем воздухе, а также соблюдением всех семейных ритуалов, – всю вторую неделю пропадали в темных каютах, в ущерб калориям, озону и семейным ритуалам. Их называли снисходительно «молодыми», а число их, по подсчетам Дуче, было равно  $2n + k$ , где  $n$  – число всех одноместных кают, а  $k$  – неопределенное число прочих, но не всех.

– У них развилась то ли боязнь пространства, то ли боязнь стремительно уходящего времени, – заметил зав. кафедрой мединститута Борисов. – Но выглядят они болезненно, очень бледные, видно, бледная немочь у женщин...

– Бледные они поганки, – заметил Дрейк и не сплюнул только потому, что некуда было сплюнуть.

– А у мужчин...

– А у мужчин скоро будет одеревенение всех членов, – заметил Филолог, и в глазах Дрейка прочел одобрение своим словам.

– Да, похоже, – согласился зав. кафедрой мединститута Борисов.

– Пусть примут курс лечения. Может, он последний в их жизни.

Вторая группа – преимущественно старички, закоренелые холостяки, бобыли, аскеты и прочие неудачники – сидели в затишке на корме в трех шезлонгах и восьми плетеных креслах, переставляли, бормоча, шахматные фигурки и с легкой грустью смотрели на все, что оставалось позади, чего было не вернуть и не пережить вновь. Они уже ни о чем не спорили, как в первую неделю погружения – тогда на них очевидно сильно подействовала молодежь, а со всем соглашались. Собственно, что такое, с позиций опыта, спор? Так, дребедень, напрасная трата драгоценного времени. Эту группу, естественно, игроки не осуждали и не обсуждали, так как сами косвенно были ее участниками.

Ну а молодежь толкалась на носу, подставляла ветру и солнцу счастливые загорелые лица, жадно вглядываясь в надвигающиеся неведомые берега, набегающую воду, облака, сияющую восточной голубизной и золотом жизнь. В их шумной, неунывающей компании случайно затесавшийся представитель первой или второй группы чувствовал себя чужим, одиноким и несчастным. Дрейк уважал эту группу, Дуче относился к ней индифферентно, у Филолога щемило сердце, когда он думал о ней, ну а для зав. кафедрой мединститута Борисова она была хуже горькой редьки.

После захода солнца, ночь напролет молодежь танцевала, пела, целовалась, мешала спать второй группе и мешала быть истинно счастливой первой.

На Фаину больше никто не посягал. Во всяком случае, на коленях не стояли и страстно не умоляли – как-то все поняли сразу, что это бесполезно и бесперспективно. Хотя влюбленных в нее были воз и маленькая тележка (она, правда, не собиралась их везти). Один лишь лидер, обросший серебристой шерстью, игнорирующий всякие группы, кроме той, где он был центром, не терял надежды и каждый вечер угощал Фаину в баре коктейлем, танцевал с ней один танец, благодарил и, галантно поклонившись и поцеловав ей руку на прощание, шество-

вал к себе в каюту. Казалось, он несет не себя, а драгоценную вазу. Что он делал один в каюте – никто доподлинно не знал. Видимо, ждал Фаину. Может, это был страстный мужчина. Он как-то признался Фаине, что его предки – выходцы из Валенсии. Все может быть. Только Фаина тут же забывала о нем до следующего вечера, и ее смех раздавался на палубе до утра.

В последний вечер Фаина, не допив коктейль, бесцеремонно бросила в баре лидера, покрытого шерстью, и выскочила на палубу. Точно черти вынесли ее наверх. По палубе брел Филолог. Подхватив его под руку, она через четверть часа, как Шахерезада, вытащила его дозволенными речами из прострации и довела до совершенного умоисступления. Филолог, как мальчик, полез к Фаине целоваться. Она странно взглянула на него. Оттолкнула. И пошла по палубе, покачивая бедрами. Совсем как марсельская шлюха. У Филолога задрожал подбородок. Он понял, что она идет к нему. В каюту.

В полумраке ее глаза сияли. Он не мог не глядеть в них. Она улыбалась. Молчала. И ждала. Филолог упал перед ней на колени. И обнял ее ноги. Прислонился к ним головой. Ощутил их прохладу. Фаина рассеянно вертела завиток на его макушке.

– И долго мы будем так? – в голосе ее была насмешка. Филолог понял, что эта златовласая колдунья презирает его, и будет презирать еще больше, если он посмеет овладеть ею. Он понял, что она никогда не будет его, что она вообще никогда не будет чьей-либо, и что она разбила его жизнь, навсегда разбила. Фаина дернула Филолога за вихор. Она подумала с горечью: «Уж Гвазава бы сейчас не растерялся». Филолог опустил на пол, разняв свои руки. Холодная испарина покрыла его лоб. Он плакал без слез.

Фаина поджала губы и вышла из каюты...

– Почему вы никогда не улыбаетесь, Фрэнк? – спросил Филолог вечером за пулькой капитана.

– Почему не улыбаюсь? – задумчиво повторил Дрейк, изучая свои карты. – А, собственно, чему я должен улыбаться?

– Как чему? Ну, жизни, например, шутке, женщине... Мало ли чему, – Филолог выпил.

– И что, помогает? – спросил капитан.

– Выпивка?

– Выпивка помогает. Улыбка?

– Да как сказать... – Филолог стал чересчур сосредоточенно смаковать рыбий плавничок.

– Хм... Видите ли, у меня, как эти ваши... – Дрейк подыскивал слово.

– Бездельники?

– Да, они. Как эти ваши бездельники любят говорить, трагическое мироощущение. Вы воевали? А вы? А я воевал. Вот потому и не улыбаюсь. Я начал войну танкистом. Потом горел в танке. Рубцы вот до сих пор. Это не от абордажных атак. Хотя из-за рубцов этих в основном и прозвище пиратское прилипло... К партизанам попал. Там меня в разведчики определили... Гореть в танке – не самое смешное. А вот давить людей, а потом с гусениц отдирать намотанные человеческие кишки...

Зав. кафедрой мединститута Борисов откинулся на стуле и широко раскрыл глаза. Он был специалистом в области психологии и остро ощущал дисгармоничность момента.

– Но и после этого улыбаться еще можно. В улыбке главное зубы. А я два года эти зубы вышибал. Буквально и натурально. «Языков» брал. Нас в разведку всегда по трое ходило. Но брал «языка» всегда я. Так уж получилось. У меня всех моих фрицы побили, что мне оставалось делать? Колька Жуков, профессиональный армейский разведчик, меня натаскал. Он до победы не дотянул, под мину попал. В руке вот так зажимаешь свинцовый шарик (по руке, специального изготовления) и ползешь, скажем, к часовому. Подползаешь – тут надо как пружина вскакивать (я в день, с бревном на плечах, по тысяче приседаний делал), вскакиваешь – и наотмашь загоняешь ему этот шарик в рот, вместе с зубами.

Зав. кафедрой мединститута Борисов проглотил слюну, и глаза его стали еще шире. Этот метод взятия «языка» был очень далек от методов психологии: скажем, метода проб и ошибок, используемого бихевиоризмом, и даже метода семантического радикала, в котором вызывают оборонительную реакцию ударом электротока. Дрейк понимающе кивнул ему головой.

– Всегда брали «языка» тихо – тут не покричишь, когда у тебя зубы в глотке. Да и боль парализует мгновенно. И так два года. У меня поначалу смеяться еще получалось. А потом и смеяться не мог. Не лицо, а маска. Маска разведчика. Я бы фильм не «Подвиг разведчика», а именно так – «Маска разведчика» – назвал. Так верней.

Филолог почувствовал («почувствовал», как могут чувствовать все совестливые люди) свои страдания такими пустыми и всю свою жизнь такой никчемной и пропащей, что, извинившись за то, что перебрал сегодня, понимая, что испортил хорошим людям игру, вышел, шатаясь, на палубу и в отчаянии едва не прыгнул за борт. Его удержала чисто эстетская мысль, что когда его вытащат из воды, опухшего и безобразного, его таким, быть может, увидит Она... «Феофан» возвращался к повседневной жизни. До города оставалось десять часов ходу.

На трапе Филолог подал руку Фаине. Она с улыбкой оперлась на нее. Глядя Фаине в глаза, Филолог сказал:

– Унижаться пришлось мне наемни. Ничего: Париж стоит обедни.

Фаина, не моргнув глазом, ответила:

– Oui, Paris vaut bien une messe.

И улыбнулась, чертовка! Обворожительно улыбнулась!

## Глава 17. И ножками, и ножками – влево вправо, влево вправо, влево вправо

На третий день по прибытии Мурлова в Воложилин, когда он оформлялся в отделе кадров, инспектор позвонила куда-то и подала ему телефонную трубку. Женский голос, любящий давать поучения, пригласил его назавтра к девяти утра к Сливинскому. «Захватите с собой диплом. Просьба не опаздывать!» – произнесла трубка. «Не опозда-аю...» – страстно прошептал Мурлов в трубку и бережно положил ее на аппарат. Инспектор покачала головой.

Секретарше понравилось, как он представился – вошел в приемную, щелкнул каблукми и серьезно произнес: «Разрешите представиться. Мурлов Дмитрий Николаевич. Выпускник столичного вуза. Красный диплом. Семей не обременен. Прибыл в ваше распоряжение, сударыня». Прекрасная Альбина не нашлась, что сказать, молча распорядилась сударем и запустила его к директору, прищелкнув каблукми. Мурлов взглянул на нее, и они улыбнулись друг другу. Улыбка – что клей: склеивает порой на всю жизнь.

Сливинский посмотрел диплом, спросил, как погода в Москве, не тает ли снег, чем удивил Мурлова, расспросил об институте, о теме дипломной работы, руководителе, поинтересовался, знает ли он иностранные языки и умеет ли программировать на «Альфе» и на «Алголе».

– Ну что ж, Дмитрий Николаевич, испытательный срок вам – год, будете стажером-исследователем, оклад 100 рэ, общага возле леса. Не берлога, но живут в ней медведи. Увидите. Через год аттестация. Там посмотрим – научным сотрудником вас сделать или инженером, но кем-нибудь обязательно сделаем. Старайтесь. На год вам задача – узнать у коллег все, что они знают, научиться у них всему, что они умеют. Я, конечно, несколько преувеличиваю, за год не успеете, но старайтесь. А сверхзадача – к концу срока определитесь, чем хотите и чем сможете заниматься у нас. На ВЦ у нас много времени – на «БЭСМ-6», не теряйте это время даром. А то потом, голубчик, за время придется платить. Будете работать у доктора Хенкина, в отделе аэродинамики. Слышали о таком? В столицах?

– Да. Монографию читал.

– Ну и прекрасно. О человеке надо судить по лучшему, что он создал. Хотя у него есть несколько статей в американском журнале «Механика». Тоже неплохих. В нашей библиотеке есть.

Фамилия Хенкин часто встречалась в научных журналах и ведомственных сборниках. На пятом курсе его имя несколько раз упоминали на лекциях, и у кого-то в группе даже была тема дипломной работы в развитие одной из хенкинских идей.

Здесь, в институте, как вскоре узнал Мурлов, Хенкина по праву считали счастливым. В сорок пять лет он уже имел все, что нужно для человеческой жизни: доброе имя, прочное место в научном мире, квартиру на Стрельбищенском жилмассиве, машину, красавицу жену, вывезенную пять лет назад из заграникомандировки – она была в поездке по Польше его переводчиком. (Опять полячка? – подумал ты). Нет, она была русская, но ее родители долго работали в Польше, в торгпредстве, и ополячились настолько, что Елена Федоровна себя считала полячкой, и ей нравилось, когда к ней обращались «пани» и восхищались ее красотой – простительная слабость.

Хенкин обладал прекрасной памятью и обширными сведениями во всех областях человеческого знания. Некоторые, правда, считали его занудой, но это был простительный недостаток при таком достатке всего прочего. Ведь, по большому счету, мужчины-мудрецы и женщины-красавицы – все зануды. Это закон природы. Закон занудства. Занудой же его называли по той причине, что у него был зуд рассказывать встречному и поперечному обо всем, что он знал. А знал он все и знал всех. Поэтому это было всеобщее проклятие. В его памяти можно

было найти необходимые ученому (хотя на то и есть уйма справочников) точные (до немислимых степеней) значения космических, ядерных, химических и прочих констант; и тут же – сколько, например, ступенек в потемкинской лестнице (что в Одессе) было и сколько осталось; или – сколько любовников было у Клеопатры и Айседоры Дункан или любовниц у Пушкина и Казановы (причем дотошность его в изложении подробностей была такова, что невольно хотелось спросить, уж не прятался ли он сам в это время где-нибудь за портьерой или в складках ковра); или – что сказал Диоген Синопский, сын менялы Гинесия, развратнику Дидимону; или – как менялся курс гульдена во Франции на протяжении семи столетий и, что гораздо изменчивей, цена на водку в России за последние сто лет; или, на худой конец, когда с собеседником было не о чем говорить, – сколько у кита весит большое яйцо – об этом, кстати, через него, знали уже даже в младшей группе детсада № 7. Хенкин, повторяюсь, знал все. Не знал одного – зачем ему все это нужно знать. Впрочем, Божье наказание иногда носит самый причудливый характер.

Надо отдать ему должное, на работе он говорил только о работе, и все только дельное, ну а вне работы – обо всем остальном. Поскольку нормальный человек поступает как раз наоборот, ему (нормальному человеку) с Хенкиным было весьма напряженно. Не дай Бог нормальному человеку (здесь: читай – обычному) по пути на работу столкнуться с Хенкиным – его охватывало смятение и ужас, как в средневековье при встрече с чумой. С Хенкиным хорошо чувствовал себя только вахтер Митрич. Тот был глух, как пень, и ему нравилось, что такой уважаемый человек, доктор наук, профессор, о котором писали даже в Америке! – так помногу с ним разговаривает. У Митрича потом всю вахту светились глаза. Хенкин же отзывался о Митриче, как о чрезвычайно приятном собеседнике. От Хенкина и прятались, и обходили, и обегали его стороной, меняли привычные маршруты следования в институт и из института. При встрече с ним у некоторых на мгновение отказывали ноги, они приседали, скидывали руку, дико глядели на часы, били себя по лбу и с воплем «забыл!» или нечленораздельным мычанием шаркались от него в проулок или в кусты, как от той самой чумы. Хенкин не отчаивался и через минуту-другую радостно (любую новость, даже о поголовном море в Африке или последствиях цунами в Японии, он сообщал с радостным выражением лица, будто произошло нечто долгожданное) сообщал очередному коллеге, какой рекорд установила где-то у черта на рогах швеймотористка и по какому избирательному округу ее выдвинули в депутаты Верховного Совета, и заодно, сколько в Совете швей, академиков, и кто из них депутат формальный и кто не формальный, и что слово «формальный» произошло от французского, а то, в свою очередь, от латинского, и так далее, до яйца включительно, и от него обратно. Словом, дурдом. В средние века на Востоке дурбаром назывался царский двор, а дурдомом, наверное, царский дворец.

В этих двух параллельных потоках Хенкина – сознания и речи – слушателей несло и мотало, как щепку в ливневой канализации. Все-таки самым удивительным было не то, что Хенкин все это знал и помнил, а то, когда он это все узнал, так как за человеческую жизнь столько узнать было физически невозможно. «Хенкин – бессмертный, как французский академик», – говорил Сливинский. («Дункан МакЛауд», – добавим мы, как люди более продвинутые во всякой чертовщине).

Мурлов, молчаливый и новенький, и, судя по всему, понятливый и не пустой, как большинство выпускников даже столичных вузов, вполне подходил Хенкину, и Хенкин иногда специально поджидал своего сотрудника возле общежития, мимо которого шел на работу пешком. Мурлову Хенкин не казался таким занудой, как остальным, так как он сам тоже свято верил в то, что делу время, а потехе час (пока идешь на работу). У каждого своя потеха, и у Хенкина она не из худших. Что может быть лучше достоверной информации? Это оценят у нас только лет через двадцать, когда информацией начнут торговать; и, как все, к чему прикасается торгавля, начинает гнить и искажаться, так и самая правдивая информация пойдет от лукавого.

\*\*\*

Глядя на Юрия Петровича, Мурлов часто вспоминал институтского друга – Саню Баландина. Саня был на несколько лет старше своих сокурсников, так как в институт поступил (по его словам) «с должности массовика-затейника» в одном из подмосковных домов культуры. Слабое зрение позволило ему плодотворно трудиться на ниве народной культуры те несколько лет, которые он мог также плодотворно отдать службе в рядах СА и ВМФ, и скорее всего, на этой же ниве. На то у него был природный талант, сродни таланту пахаря.

У Сани было две страсти: футбол и оперетта. Такие вот две крайности, говорящие о цельности натуры. Проще верблюду было пролезть в игольное ушко... (Юрий Петрович разъяснил, что по одной версии игольное ушко – это всего-навсего арка над въездом, не то в Иерусалим, не то в храм, а по другой – нонсенс из-за некорректного перевода с иврита на греческий). Так вот, прощеве верблюду было пролезть в игольное ушко, чем представить Саню Баландина на футбольном поле или на сцене театра оперетты. Был он толстый и корявый, с плохо координированными движениями конопатых рук, коротких ног и волосатого туловища. Золотые с чернотой очки и зубы, красное лицо, толстый короткий нос, смоляная, как щетка, борода, смоляные же волосы – не добавляли шансов на успех ни у мужчин, ни у женщин. А он и не хотел и не стремился играть ни в футбол, ни в оперетту. Он сам любил наслаждаться зрелищем и любил рассказывать о нем так, что получалось очень зрелищно и смачно. Рассказывал он вдохновенно и страстно, талантливо и артистично. И глаза его горели при этом, как у всякого одержимого.

О футболе он знал все: от тайн ФИФА до тайных фифочек женатых руководителей и футболистов всех клубов, и тем более сборной Союза, от силы удара ногой знаменитых форвардов и хавбеков до числа выбитых у них же зубов и переломов; знал, кто и сколько, кому и как, и с чьей подачи забил голов в любом году, в любом месте нашей необъятной страны: в 56-м году – пожалуйста, в 62-м – получите, в Москве, в Казани, в Киеве, в Барселоне – что еще угодно? Сколько квадратных метров жилплощадь у Стрельцова? А вам – в каком году?

Обо всем этом он рассказывал с пеной у рта и так заразительно, что даже полурафинированная учительница пения одной из московских школ, в очечках и с косой, с которой он познакомился на «Баядере», после того как во время действия несколько раз, забывшись, сжал соседке справа руку и хлопнул ее по ноге, – зачастила на футбол, о котором до этого не имела ни малейшего понятия. Она все время считала, что в футбол играет умственно неполноценная часть мужских особей, а болеет за них совсем уж сумасшедшая (то есть – все остальные мужчины), физически неполноценная часть.

Декану, ярому болельщику «Спартак», Саня сдавал зачеты и экзамены всегда последним, по часу, по два, причем он к ним совершенно не готовился, иногда даже не знал, что за предмет сегодня сдают. Декан же за этот час узнавал больше, чем за год из «Советского спорта» и от всех болельщиков на трибунах, вместе взятых. Саня болел за ЦСКА, и их мирные поначалу беседы кончались громким криком и швырянием стульев, но в конце концов оба оставались довольны, и Саня выходил с зачетом или отличной оценкой.

По любому из спорных моментов Саня спорил на бутылку шампанского и всегда выигрывал, так как никто в мире лучше него все равно не знал предмета спора. Кумиром его, разумеется, был Лев Яшин, и Саня часто прыгал на панцирную сетку студенческой койки, показывая, как Яшин немисливо вытягивал пушечную «шестерку». Саня хрипло орал: «Вот так!», а кровать визжала, как свинья. Кстати, даже в том, что ему, с одной стороны, нравилась военная команда ЦСКА, то есть мощь и атака, а с другой, больше всего он обожал вратаря, как последнюю надежду команды, – психолог мог бы почерпнуть богатую пищу для рассуждений о цельности натуры Баландина. Но что это я, какой психолог, когда кругом одни психи?

В футбол, кстати, он играть не умел. Во всяком случае, никогда не гонял на баскетбольной площадке с ребятами мяч в так называемый «дыр-дыр».

Что же касается оперетты... Оффенбах, Штраус, Лекок, Кальман, Зуппе, Легар, Дунаевский – Саня приходил в экстаз от одного звука этих имен. Опереточный Олимп, это доказано, находился в его душе (поинтересуйтесь, при случае, у ответственного секретаря подготовленного к печати очередного издания «Энциклопедии»). Литавры и флейты, голубые глаза и обнаженные плечи, воркование речей и переливы арий, роскошь нарядов и упругость канкана, улыбки и ножки – ах, какой чарующий и радостный мир!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.